

0483

# ЗНАМЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Л. ЛАГИН

## БРОНЕНОСЕЦ «АНЮТА»

*Повесть*

### I. ТРОЕ УХОДЯТ В МОРЕ

18292  
2/6281

Три краснофлотца лежали на вершине невысокого холма: Степан Вернивечер с «Червонной Украины», долговязый и молчаливый Никифор Аклеев с «Быстрого» и Василий Кутовой, которого все в батальоне считали пожилым человеком, потому что ему уже стукнуло целых тридцать два года. Он пришел в бригаду не с корабля, а из запаса, и с его ладоней еще до сих пор не совсем отмылась угольная пыль. До войны он был шахтером.

Над холмом безмятежно голубело июльское небо. В нескольких метрах позади плескались о крутой берег теплые волны негромкого прибоя.

Впереди, за крохотной сопочкой, залегла смерть, близкая и неминуемая. Краснофлотцы знали это, и у них сейчас было только одно желание: подороже продать свои жизни.

По совести говоря, у них было еще одно желание: попить. Но напиться было негде. В последний раз им удалось хлебнуть воды в пять утра, а теперь уже день клонился к закату. Ну что ж, нет, так нет. Придется умереть не напившись.

В нескольких километрах к северо-западу дымились развалины Севастополя, и краснофлотцы старались в ту сторону не смотреть. Там уже были немцы. И, кроме того, они были здесь, за сопочкой. Они легли за ней и не очень торопились: краснофлотцам деваться было куда. Зачем в таком случае зря рисковать! Такие это были рассудительные немцы. Наверно, многосемейные.

Но вот один из них не утерпел и осторожно высунул из-за склона сопки свою длинную физиономию в запыленной каске. Аклеев нажал спусковой крючок автомата, но выстрела не последовало.

Так и есть, кончился диск. Последний диск.

Правда, немца это не спасло, потому что одновременно с Аклеевы нажали спусковой рычаг своего «максима» Степан Вернивечер. Коротки очередь разорвала невыносимую тишину, и немец клюнул носом в раскаленную землю. Потом голова убитого, цепляясь за камни, исчезла за сопкой. Его, очевидно, оттащили за ноги.

Чистая работа! — похвалил Аклеев Вернивечера. Он повернулся к пулеметчику и увидел, что Вернивечер, отделив замок «максима», незаметно для немцев, по-над самой травой, швырнул его вниз, а берег. Слышно было, как замок звякнул, стукнувшись о гальку.

Значит, и у Степана кончился боезапас. Выходит, дело совсем дрян. У Кутового в диске его ручного пулемета давно уже оставалось только несколько патронов. Он должен был стрелять последним, за секунду до того как все будет кончено.

Просто удивительно, как незаметно иссякли у них патроны. Ведь выпотрошили подсумки у всех убитых, и все таки нехватило. У Аклеев мелькнула мысль, что в дальнейшем надо будет поэкономней обращаться с боезапасом и бить только наверняка. Но он тут же насмешливо хмыкнул: о каком это там дальнейшем он размечтался? «Дальнейшего» уже никогда не будет. Печально, но факт. Они прекрасно понимали это, когда вызвались прикрывать отход своего батальона. Батальон благополучно добрался до пристани. Значит, все в порядке.

Сзади послышался шорох. Аклеев обернулся и увидел ползущего к нему Вернивечера. Сразу из-за сопочки раздался выстрел. Крохотное облачко возникло и тотчас же растаяло чуть впереди Вернивечера. Тот замер, привычно прильнув к выгоревшей траве, и громким, срывающимся шопотом произнес:

— Давай кончать, братки!.. Нету больше моего терпения!..

— Ну, и что? — спросил его Аклеев.

— Кинемся вперед!.. Крикнем «ура!» и вперед!..

— Помереть спешишь, — холодно констатировал Аклеев. — Не понимаю, почему такая спешка. Царства небесного нету. Это я тебе заявляю официально.

Он бросил взгляд на Кутового. Кутовой был очень бледен. Он молчал, крепко вцепившись в рукоятку своего пулемета.

— В нашем положении первое дело спокойствие, — продолжал Аклеев и сам удивился своей разговорчивости, — я так считаю: еще не все кончено. Например... например... — он лихорадочно думал, что бы такое предложить, и вдруг придумал: — Например, мы еще пляж не обследовали. Надо его обследовать.

— Игрушки! — сказал Вернивечер. — Самим себе головы морочить!

— А может, там какая пещера есть, — вмешался в разговор Кутовой. — Тогда мы там сховаемся. А может, там что другое найдется...

— Броненосец найдется! — фыркнул Вернивечер. — Броненосец «Анюта» с карими глазками!

— Я тебе удивляюсь, Степа, — мягко возразил ему Аклеев. — Ты же военный человек. От тебя же еще может большая польза в военных действиях произойти, а ты — ах-ах, дайте мне моментально погибнуть! Спускайся вниз и разведай берег.

Вернивечер не тронулся с места.

— Товарищ Вернивечер, исполняйте приказание! — чуть повысил голос Аклеев. — Спускайтесь вниз и разведайте берег.

— Здрасьте! Командир нашелся на мою голову, — горько улыбнулся Вернивечер, но все же быстро отполз назад и скрылся за обрывом.

Прошло несколько очень долгих минут.

В стороне, в районе тридцать пятой батареи два вражеских самолета неторопливо кружили над маленькой пристанью и обрасывали бомбы.

Поднимая за собой тучи пыли, прогрохотали и скрылись вдали на дороге немецкие танки.

Снова стало тихо. Немцы за сопочкой не торопились. Им не хотелось зря рисковать. Их дело было верное. Они ждали миномета.

И вот, наконец, над краем обрыва показалось возбужденное лицо Степана Вернивечера. Он торопливо поманил к себе пальцем Аклеева. Аклеев, осторожно пятясь, подполз к нему.

— Там катерок! — прошептал Вернивечер, тяжело переводя дыхание, и мотнул головой в сторону небольшого мыска. — Раздолбанный лимузинчик... Прибило к берегу... ей-богу!.. на нем один старшина... Только он скорее всего убитый... А может и не совсем еще убитый, но только он весь окровавленный... И еще там четыре цинки с патронами...

— А мотор как? — спросил Аклеев.

— Вот как раз за мотор не скажу. Не проверял, чтобы не было лишнего шума, — ответил Вернивечер извиняющимся тоном.

— Это ты, Степа, правильно сделал, — сказал Аклеев. — Тогда тебе вот такая задача: экстренно сюда сто штук патронов.

— Уже! — подмигнул Вернивечер и выложил на траву несколько картонных коробочек. От прежнего его настроения не осталось и следа.

— Опять правильно! — заметил Аклеев. — Тогда мы живем!

Он подбросил патроны Кутовому, и тот набил два диска достказа, чтобы прикрывать своим огнем отход Аклеева и Вернивечера. Но стрелять ему не пришлось. Немцы за сопочкой не проявляли никаких признаков жизни.

Когда все трое уже были на берегу, Вернивечер вспомнил про свой разоренный «максим», поднялся за ним, спустил его на ремнях вниз, разыскал валявшийся на гальке замок, водворил его на место и установил пулемет на корму лимузина.

— Главный калибр броненосца «Анюта»! — промолвил он, ласково похлопав по исцарапанному и помятому кожуху. Потом он окинул критическим взглядом потрепанное фанерное суденышко, вздохнул: — Типичный некрейсер! — и пошел обследовать мотор. Мотор был в порядке.

— Полный вперед! — скомандовал Аклеев и лег за «максим».

Мотор заурчал, винт вспенил теплую, прозрачную воду, и катер рванул вперед как раз тогда, когда немцы, обнаружив, что их перехитрили, вытащили свой миномет на самый край обрыва.

— Не будем разбрасываться боезапасом, — сказал сам себе Аклеев и выпустил по противнику очередь патронов на пятнадцать-двадцать.

Если говорить честно, катерок серьезного уважения к себе, действительно, не вызывал. Предназначенный для передвижения в пределах юрта, он в открытом море был так же нелеп, как носовой платок в

качестве паруса, как мальчишеская рогатка взамен четырнадцатидюймовой пушки. Ко всему прочему он был в нескольких местах продырявлен осколками. Выгоревшие синие шторы, которыми были занавешаны его окна, просвечивали, как рыбацьи сети.

Зато ниже ватерлинии пробойн не было.

На кожаном, облитом кровью сиденье умирал неизвестный старшина. Он бредил и все просился в разведку. Около него возился Кутовой, пытавшийся оказать ему хоть какую-нибудь помощь. Но слишком много у старшины было ран, и все они были рваные, осколочные: в голову, в грудь, в бедро, в плечо.

Немцы торопливо били по уходившему лимузину из миномета. Первая мина разорвалась по левому борту метрах в двадцати. Осколки с визгом пронеслись где-то высоко над головой Аклеева, а поднимавшаяся от взрыва волна хлынула через пробойну на левом борту, окатила с головы до ног Кутового и привела в сознание умирающего.

— Пить...— прошептал он, но Кутовой выразительно развел руками, и старшина понимающе кивнул головой. Потом он сделал знак Кутовому. Когда тот наклонился, старшина еле слышно прошептал:

— А Севастополь-то... а!— и заплакал.

— Ничего,— сказал Кутовой,— Севастополь вернем... И очень даже скоро... Ты не волнуйся...

На корме Аклеев прижимал фашистских пулеметчиков к земле экономными пулеметными очередями.

Умиравший послушал, хотел что-то спросить, но снова потерял сознание. Несколько минут он пролежал спокойно, а потом явственно произнес: «Костя, а где ты задевал утюг!» Ему, очевидно, казалось, что он готовится к увольнению на берег, и он все время порывался приподняться с сидения. Кутовой растерянно удерживал его, а старшина бормотал:

— Дайте же человеку брюки выгладить!... Вот морока на мою голову... Ведь надо же... Дайте... человеку... брюки... выгладить...

Вскоре он затих, и Кутовой пошел на корму к Аклееву.

— Ты чуток отдохни,— сказал он Аклееву и отодвинул его от пулемета.

Катер уже порядком отошел от берега, но мины все еще продолжали лопаться неподалеку и все время по левому борту. Вернивеcher уводил катер все мористой и западней. Это тревожило Аклеева. Он пробрался в машинную рубку и сказал Вернивеcherу:

— Ты голову имеешь, или что?

— Здрасьте,— отозвался Вернивеcher,— а в чем дело?

— А в том, что ты, верно, собираешься в Констанцу, а нам с Кутовым требуется на Кавказское побережье.

— Я от мин ухожу,— рассердился Вернивеcher,— а ты цепляешься.

— А ты виляй,— Аклеев сделал рукой зигзагообразное движение.— Описывай координаты.

— Есть вилять,— сказал Вернивеcher.

Солнце быстро ушло за горизонт, далекий берег слился с почерневшим морем, и Аклеев приказал Вернивеcherу выключить мотор.

Он сам не заметил, как пришел к убеждению, что должен возглавить крохотный экипаж этой дырявой скорлупки. Недоуменный взгляд Вернивечера он воспринял как нарушение дисциплины и не на шутку рассердился.

— Выключайте мотор, товарищ Вернивечер,— жестко повторил Аклеев,— переходя на официальное «вы».

— Уже приехали?— иронически откликнулся Вернивечер.— Прикажете швартоваться, товарищ генерал-адмирал?

— Где ваш компас?— ответил ему Аклеев вопросом.

— Какой компас?— растерялся Вернивечер.— Нет у меня компаса... Будто не знаешь.

— Тогда где ваша карта?

— И карты нету. Забыл, извиняюсь, на крейсере. Нет, ты, верно, тронулся...

— Тогда выключайте мотор и будем ждать утра. А то забредем чорт знает куда и все горючее переведем. Понятно?

— Вот теперь понятно,— примирительно и даже с оттенком уважения промолвил Вернивечер и выключил мотор.

Сразу стало совсем тихо. Тишина разбудила Кутового, незаметно для себя задремавшего у пулемета, и Кутовой был очень доволен, что Аклеев не застал его спящим. Он уже боялся Аклеева, как боялся требовательного, но справедливого командира.

Аклеев между тем выбрался из машинной рубки в каюту и склонился над старшиной. Старшина лежал прямой и очень тихий. Аклеев прижался ухом к его груди. Сердце не билось.

«Готов»,— подумал Аклеев. И хотя за войну он перевидел уже немало смертей и еще сегодня потерял шестерых товарищей, ему стало не по себе. Ему казалось, что, будь здесь, на катере, доктор, он обязательно спас бы старшину. А сейчас вот парень так и помер. У Аклеева даже мелькнуло что-то вроде угрызений совести, как будто только по его личной нераспорядительности на катере не оказалось врача. Но он отогнал от себя эту мысль и стал думать, что ему делать с умершим. Человек погиб в бою и заслужил, чтобы его похоронили, как полагается, тем более, что и обстановка позволяет. Однако с похоронами он решил подождать до утра.

— Отдыхать по боевым постам!— скомандовал Аклеев и уселся рядом с Кутовым. Вернивечера он не будил до самого утра, а Кутового часа в два ночи поднял и попросил разбудить его, когда начнет светать. Потом он спустился в каюту, лег на свободное сиденье и моментально уснул.

На заре состоялись похороны. Полагалось покойника зашить в койки, к ногам привязать колосник. Но не было ни коек, ни колосника. Старшину причесали, вымыли соленой морской водой его окровавленное лицо, надели ему поплотней бескозырку с золотой надписью «Черноморский флот», к ногам вместо колосника привязали винтовку, которой он защищал от врагов Севастополь, и уложили его на самом краю кормы. Аклеев, а вслед за ним и Кутовой и Вернивечер, сняли бескозырки, и Никифор Аклеев произнес речь:

— Товарищи бойцы Черноморского флота,— сказал он, и оба его спутника без команды приняли стойку «смирно». — Дорогие товарищи севастопольцы! Мы сейчас будем хоронить нашего боевого товарища, героического защитника нашей Главной базы. Он до последней минуты своей жизни не сдавался подлому врагу. Его краснофлотская книжка пробита осколком и до того кровью залита, что нет возможности разобрать его фамилию, имя, отчество, а также с какой он бригады. Дело военное... Но мы обещаем тебе, дорогой наш товарищ, что мы жестоко отомстим за твою молодую жизнь и за наш любимый город Севастополь. И еще мы обещаем вспомнить тебя, когда снова вернемся в нашу Главную базу. Прощай, дорогой товарищ черноморец!

Он кивнул Вернивечеру и Кутовому, и пока они бережно опускали в воду покойного старшину, Аклеев отдал салют тремя короткими пулеметными очередями.

Его товарищи продолжали стоять «смирно», задумчиво следя за зыбкими кругами, расходящимися по воде над тем местом, где сейчас медленно шло ко дну тело старшины. А Аклеев, окинув рассеянным взором изувеченный лимузин, вдруг заметил за дверью флагшток с намотанным на нем флагом. И хотя до восьми часов было еще довольно далеко, он решил немедленно привести в исполнение возникший у него в то же мгновение план.

— С места не сходить! — крикнул он на ходу, схватил флаг, юркнул с ним в каюту и почти тотчас же вернулся на корму.

— На флаг смирно! — скомандовал он и воткнул флагшток в его гнездо.

Флаг тяжело повис в неподвижном воздухе. Темнокрасные эмблемы и почти черные пятна крови торжественно и грозно выделялись на его белом поле.

— Так вот,— сказал Аклеев,— чья это кровь, вам известно, и что этот флаг означает — тоже.

Он взглянул на Вернивечера, вспомнил его остроты насчет «броненосца «Анюты», и ему стало обидно за корабль, которым он сейчас командовал.

— И вот еще что,— продолжал он, и лицо его налилось кровью,— тут отдельные личности шутки шутят над этим лимузином, выражаясь обидным словом броненосец «Анюта». Так чтоб я больше не слышал это грубое слово. Понятно? Раз ты идешь на данном корабле, так оно уж тем самым такое же непобедимое и опасное для врага, как броненосец, или ты не черноморец, а дермо. Понятно?

— А теперь,— сказал он, не дождавшись ответа от Вернивечера,— теперь за дело...

## II. ЗОЛОТОЙ ЛИМУЗИН

Дела предстояло много. Сейчас, когда совсем рассвело, оказалось, что они оторвались от берега всего кабельтовых на восемьдесят, не больше. Уже гудели над самым горизонтом первые немецкие самолеты. Пока что это были только разведчики. Но вслед за ними должны были вскоре появиться в воздухе десятки бомбардировщиков. Значит, надо было первым делом уходить мористей.

«Но куда? Каким курсом? — прикидывал в уме Аклеев. — На Турцию, а потом вдоль Кавказского побережья! Спасешься от самолетов, но сдохнешь от голода и жажды: без воды — раз, без продовольствия — два, без компаса — три, с малым запасом горючего — четыре. Или, что еще хуже, выбросит тебя на румынский берег. Нет, на Турцию — не резон. Итти надо прямым курсом на Новороссийск. А где он — Новороссийск? Новороссийск на востоке. Значит, сначала прямо на юг, а через часочка полтора сворачивать на восток».

Он определился по поднимавшемуся из-за горизонта солнцу, заметил на далеком берегу ориентиры, и одной заботой как будто стало меньше.

— Вот тебе ориентиры, — сказал он Вернивечеру, — действуй.

Лимузин задрожал и, оставляя за собой веселый пенистый бурунчик, тронулся в путь.

Издали доносился приглушенный расстоянием гул моторов, треск пулеметных очередей, нервное хлопанье пушек-автоматов: наши катера-охотники отбивались от наседавших на них «Мессеров».

Было ясно, что и лимузину предстояли и, может быть, очень скоро встречи с немецкими самолетами.

— Наблюдать за воздухом! — сказал Аклеев Кутовому и Вернивечеру.

И только он успел взгромоздить «максим» на крышу каюты, как Кутовой крикнул «Воздух!» и пристроился рядом с ним со своим ручным пулеметом.

«Мессершмитт» шел из-под солнца на высоте около двух тысяч метров. Он быстро приближался, заметно увеличиваясь в размерах.

— Стрелять только по моей команде! — почему-то шепнул Аклеев Кутовому, как будто летевший там, высоко наверху, немец мог услышать его слова.

— Та хйба же вин там чье? Ты говори громко. На мой ответ, — фыркнул Кутовой, и на его смугловатом с редкими оспинками лице появилась неожиданно такая милая и добродушная улыбка, что Аклеев, несмотря на серьезность момента, в свою очередь фыркнул и смущенно махнул рукой.

И сразу обоим стало легко, и как рукой сняло напряжение, в котором они только что находились. Теперь они ожидали страшного момента, когда придется открывать огонь, так спокойно и уверенно, как будто и впрямь их пулеметы, не приспособленные для зенитной стрельбы, могли серьезно противостоять пушкам и пулеметам приближавшегося немецкого самолета.

Но открывать огонь не пришлось. «Мессершмитт» сделал несколько кругов над подозрительной скорлупкой и, очевидно, решив, что игра не стоит свеч, продолжал путь к берегу. А может быть, — и это тоже было не менее вероятно, — он уже израсходовал свой боезапас и возвращался на базу за новой порцией бомб, снарядов и патронов.

— Отбоя тревоги не будет? — спросил Кутовой, чтобы только что-нибудь сказать, и, получив ответ, что не будет, понимающе кивнул головой.

Пролетели еще два самолета, прогудели над самым лимузином и, тоже ничего не предприняв, улетели во-свояси.

— Ну, так ще воювать можно, — сказал Кутовой. — Мы их не трогаем, они — нас. Только шея болеть. Во все время с задратой головой, как той индюк.

— Еще война не начиналась, — ответил ему Аклеев. — Еще навоюемся до Новороссийска.

— И це вирно, — охотно согласился Кутовой, подумал немножко и добавил: — А я б сейчас ведро каши съел...

— Гречневой? Или какой другой? — усмехнулся Аклеев.

— Ну, пускай гречневой. Абы с салом.

— А мне бы дал?

— А то нет? Да мне в крайности и полведра хватит, — великодушно заявил Кутовой, хотел рассмеяться, но вместо этого только крикнул и сказал: — Хоть бы воды попить маленько...

— Так вот что, друг, — очень серьезно сказал ему Аклеев, — удовольствия у нас нету, и воды у нас тоже нету. Так что давай забудем о таких разговорах. А то только зря дразнить аппетит.

— Это можно, — ответил Кутовой самым что ни на есть бодрым тоном, и оба они вспомнили, как, вызвавшись вчера прикрывать отход батальона, выбросили из своих сумок консервы и хлеб, чтобы взять с собой побольше патронов. Вспомнили и нисколько не пожалели, потому что раз война, значит только так и можно поступать.

Сидеть за рулем в машинной рубке во время воздушной тревоги было для пулеметчика Степана Вернивечера горше смерти. Конечно, Степан сознавал, что раз он один только и умеет обращаться с мотором, то тут уж ничего не поделаешь. Но он все равно был очень зол и чертыхался с необычным даже для него ожесточением.

Он слышал, как наверху один за другим прогудели три «Мессершмитта». Каждый раз его небольшое, но ладное мускулистое тело напрягалось, он крепче брался за штурвал и вел катер зигзагами. Его бесила полная неизвестность. Что там происходит в воздухе? Почему не стреляют Аклеев и Кутовой? А вдруг это наши самолеты? Хотя нет, судя по звуку моторов, это немцы.

Вернивечер понимал, что раз никто к нему в рубку не приходит, значит, опасность еще не миновала. И все-таки он с трудом удерживал себя, чтобы не выскочить хоть на одну секунду на корму, узнать обстановку, самому глянуть на пролетающие над лимузином машины.

Так прошло с полчаса, а может быть, и больше, и Вернивечер, окончательно потеряв терпение, уже было собрался кликнуть кого-нибудь, когда в рубку ворвался Аклеев.

— Право руля! — крикнул он, и Вернивечер круто положил руль направо.

— Видишь? — спросил Аклеев.

— Теперь вижу, — сказал Вернивечер. — Торпедный катер.

— Только ты ему бортов не показывай!.. Держись к нему носом и действуй по обстановке! — одним духом выпалил Аклеев и стремглав помчался обратно к своему пулемету.

Торпедный катер шел в атаку на предельной скорости, наполовину приподнявшись над водой, обрамленный высокими и тяжелыми

стенами белой пены. Низкий рев его мотора приближался с неотвратимостью бомбы.

А лимузин еле заметно колыхался на месте, носом к атакующему врагу, и ждал, когда тот приблизится на дистанцию прицельного огня.

Вот немцы остервенело застрочили из пулемета, и густую, как бы желатиновую поверхность воды беспрерывно рябило всплесками пуль.

Потом, сотрясая легкое тело лимузина, застучали пулеметы Аклеева и Кутового. А Вернивечер должен был в это время сидеть в своей постылой рубке и крутить штурвал. Занятие для пулеметчика!

Он всматривался в приближавшийся торпедный катер, прислушивался к очередям своего «максима», из которого сейчас бил по врагу Никифор Аклеев, и чертыхался: — Разве так стреляют! Эх, ему бы ударить по фрицам! Он бы им дал жизни.

Три немецкие пули одна за другой оставили круглые лучистые дырочки в ветровом стекле машинной рубки и просвистели над самой его головой.

Торпедный катер был уже совсем близко, и лимузин сейчас беспрестанно содрогался от яростных пулеметных очередей.

Вернивечер успел заметить на промчавшемся катере долговязого немца в мокром, блестящем на солнце клеенчатом реглане. Немец падал, как доска, навзничь на ребро рубки. Потом катер рванул в сторону, и сразу часто затарахтела его мелкокалиберная кормовая пушка.

Снаряды подымали невысокие столбики воды, и брызги играли на солнце всеми цветами радуги. Но то ли немецкие комендоры нервничали, то ли им нехватало выучки, они все время мазали мимо цели, и пушка вскоре замолкла: катер снова выходил в атаку. Лимузин медленно покачивался на волне, оставленной немецким катером.

— Считаю, все прекрасно! — сказал Аклеев Кутовому и вытер тыльной стороной ладони свой чуть вспотевший лоб. Кутовой в ответ только кивнул головой — ему было некогда. Стиснув зубы, он с непередаваемой быстротой бывалого пулеметчика набивал диски. Только покончив с дисками, Кутовой счел возможным поддержать начатый Аклеевым разговор.

— Подходяще, — промолвил он и улыбнулся. — Бо сразу и фрицев бьешь, и про голод забываешь. — Он вспомнил подстреленного немца, — скорее всего это был офицер. Кутовой хотел поделиться своими соображениями на этот счет, но Аклеев его уже не слушал. Просунув голову в кабину, он окликнул Вернивечера:

— Степан! Ты живой?

— Живой! — отозвался Вернивечер через раскрытую дверцу рубки.

— А ты часом не раненый?

— Пока целый.

— Ну, смотри. Если тебя ранит, так ты не стесняйся. Сразу докладывай! — крикнул Аклеев в заключение и снова взялся за пулемет: торпедный катер ложился на боевой курс.

И тут случилось неожиданное. Вместо того чтобы терпеть, пока немцы подойдут на расстояние действительного пулеметного огня, Вернивечер запустил мотор, и лимузин стремительно помчался навстречу торпедному катеру.

— О це вирно! О це ты вирно приказав! — с веселым бешенством

крикнул Кутовой. Он был уверен, что Вернивечер действовал по приказанию Аклеева, и Аклееву некогда было его разубеждать.

Теперь к скорости торпедного катера прибавился самый полный ход лимузина. Они сближались с такой быстротой, словно падали друг на друга. Рев моторов, будоражащая дробь пулеметов, рокот и тяжелый плеск мощных бурунов разметали в клочья ясную и прохладную утреннюю тишину.

— Попытаемо нервы у фрицев! — не унимался Кутовой, с которого его обычную невозмутимость как ветром сдуло.

(Каждый раз, когда он участвовал в наступательном бою, когда над ним нависала угроза скорой, но славной смерти, Кутовой преображался. Его чуть тронутое оспой лицо с милыми хитрыми ямочками на щеках покрывалось жарким степным румянцем, и он начинал жестоко крыть Гитлера и Геббельса; последнего он особенно не любил и величал трухлявой жабьей гнидой. Незаметно для себя он в такие минуты целиком переходил на свой родной, украинский язык.)

— Попытаемо нервы у фрицев, тряса их матери! — кричал он, поливая торпедный катер расчетливыми и злыми очередями.

Немецкие пули невидимыми стайками неслись над головами краснофлотцев. С хрустом прошивали они хилое тело лимузина. Летели щепки. Уже слышны были приближавшиеся слова команды на чужом, ненавистном языке. Вот сейчас в треске дерева и грохоте взрывов столкнутся насмерть немцы и русские. Но Вернивечер продолжал идти на сближение, и немцы не выдержали.

Снова круто рванул в сторону торпедный катер, но не успела еще заговорить его пушка, как над машинным отделением запылало почти незаметно синее пламя, и тотчас же повалил густой черный дым.

— Горыть, жаба!.. Горыть, гад, як тая свича на пасху! — восторженно закричал Кутовой и стал вместе с Аклеевым бить по немцам, выскакивавшим наверх тушить пожар. Один из немцев, коротенький, в трусах, выбежавший с огнетушителем в руках, завертелся на одном месте, не выпуская из рук огнетушителя, упал на скользкую покатую палубу и плавно скатился за борт. Другой, с растрепавшейся желтой шевелюрой, тяжело обмяк и свалился обратно в люк, из которого он только наполовину успел высунуться.

Теперь уже немцам было не до повторных атак.

Вернивечер сторяча кинулся их преследовать, но зря рисковать было не к чему. К тому же надо было экономить горючее. Аклеев, просунув голову в распахнутую дверь каюты, во всю мощь своих легких рывкнул:

— Лево руля! — и Вернивечер послушно переложил руль. — Стоп! — скомандовал Аклеев минуты через две-три.

Фашистский катер выжимал из своих подыхавших моторов последние силы, чтобы выйти из зоны прицельного огня и в безопасности тушить пожар. Но огонь полз быстрее катера, он добрался до боезапаса, и высоко в небо поднялся в зловещем грохоте взрыва столб огня, дыма и обломков. Потом, немного повисев в воздухе, дым рассеялся, и на расхोлившихся широкими кругами волнах, покачиваясь, поплыли несколько закопченных щепок и измочаленная взрывом половина спасательного пояса.

— Считаю подходяще! — сдержанно произнес Аклеев. Но как он ни старался сохранить безразличное выражение лица, рот его невольно расплывался до самых ушей. Совсем по-мальчишески он задорно ткнул Кутового кулаком в бок и, уже нисколько не заботясь о выражении своего лица, побежал в машинную рубку, к Вернивечеру.

— Вот тебе, Степка, и «броненосец «Анюта»! Золотой у нас лимузин!.. Скажешь, нет? — крикнул он, вваливаясь в рубку, и от полноты чувств хлопнул Вернивечера по плечу. Вернивечер взвыл от боли и, потеряв сознание, рухнул на палубу.

Ладонь Аклеева была в крови.

### III. ЗАХОЧЕШЬ ЖИТЬ — НЕ УМРЕШЬ

Две фашистские пули продырявили Степана Вернивечера. Но, как это нередко случается в пылу боя, он этого сначала и не почувствовал. Все его внимание было приковано к форштевню стремительно приближавшегося торпедного катера. Когда немцы не выдержали и снова свернули с курса, и особенно когда у них начался пожар, Вернивечер рванулся было за ними в погоню, но по приказу Аклеева свернул в сторону и выключил мотор. Теперь он наслаждался зрелищем гибнущего катера и восторженно ругался каждый раз, когда на катере падали подстреленные немцы.

И только когда в свежем голубом небе совсем растаял мохнатый столб огня и дыма, возникший над местом взрыва, Вернивечер вдруг почувствовал непопятную слабость и боль в правом плече и чуть повыше локтя.

Как раз в это время и ввалился в рубку ничего не подозревавший Аклеев.

— Кутовой! — растерянно крикнул Аклеев, бросившись поднимать обмякшего и обеспамятевшего Вернивечера. — А ну, сюда! Живо!

Сотрясая лимузин, примчался с кормы Кутовой. Увидел склонившегося над Вернивечером Аклеева и испугался:

— Убили?

— Живой, — сказал Аклеев и вместе с Кутовым стал перетаскивать Степана в каюту, на сиденье.

— Тяжелый! — произнес, отдуваясь, Кутовой, с трудом перешагнув со своей громоздкой ношей через высокий комингс, — чистый танк, ей-богу... А с виду ведь ни за что не скажешь, чтоб толстый...

— погоди, — утешил его Аклеев, — ты еще дня три не поешь. Тебе тогда воробей тяжелее танка покажется.

— Тю-у! — протянул Кутовой. — Тогда готовь гробы... Если еще три дня не есть — загнемся.

— Захочешь жить — не умрешь, — сказал Аклеев и, рассердившись на самого себя за такой несвоевременный и вредный разговор, отослал Кутового назад, к пулемету, а сам перевязал Вернивечеру плечо и перетянул ему рану повыше локтя жгутом.

Кровь перестала хлестать, но Степан все еще не приходил в себя.

«Другой бы, может, и вовсе помер, — с раскаянием подумал Аклеев, вспомнив, как он на-радостях ахнул Вернивечера по плечу. — Здоро-

вый — и тот бы скатился с катушек. А тут у человека, может, плечевая кость раздроблена...»

Он присел на краешек сиденья в головах у раненого моториста, сквозь разбитое окно опустил руку за борт, зачерпнул ладонью прохладной утренной воды и плеснул в лицо Вернивечеру.

Пока тот медленно раскрывал глаза, Аклеев успел еще подумать, что Степану с перебитым плечом баранку уже не крутить и что придется приставить к этому делу Кутового. Наука не очень хитрая, и Степан объяснит Кутовому, что к чему. Правда, огневая мощь лимузина сократится вдвое: вместо двух пулеметов сможет действовать только один. Но тут уж ничего не попишешь. Могло быть куда хуже.

— Ты меня, Степан, прости, — сказал он очнувшемуся, наконец, Вернивечеру. — Я ж не знал, что ты раненый...

Но Вернивечер вместо ответа снова устало закрыл глаза.

— Ты... почему... бензином?... — прерывисто прошептал он, морщась от сильной боли.

«Очумел парень! — с тоской подумал Аклеев. — Лепечет без всякого понятия».

— Ты лучше отдохни, Степа, — сказал он Вернивечеру. — Ты лучше, Степа, пока не разговаривай.

— Почему... бензином... плещешься? — строго повторил Вернивечер, не открывая глаз. — Тебе что, моря нехватает?

Аклеев благоразумно решил не вступать с ним в пререканья. Человек явно бредил.

«Вот морока! — подумал он. — Только этого и нехватало». — Он поднял руку, чтобы поправить свои свисавшие на глаза, давно нестриженные волосы и вдруг почувствовал, что от руки доносится легкий запах бензина.

Мгновенная догадка словно варом его обдала.

Аклеев рывком высунулся из окна каюты и увидел то, чего он опасался в этот миг больше «Мессершмитта», больше торпедного катера, даже больше штурма...

Море вокруг лимузина было покрыто сплошной бледной маслянистой пленой, мирно игравшей на веселом солнце всеми цветами радуги.

Тогда Аклеев, все еще не веря несчастью, рванулся в машинную рубку и попытался включить мотор, но тот, несколько раз чихнув, бессильно замолк. Аклеев еще и еще раз попробовал запустить мотор, совсем недавно пыхтевший так старательно и деловито, но теперь он и чихнуть уже не был в состоянии.

Случилось непоправимое: фашистская пуля с погибшего торпедного катера пробила бензобак. Все горячее ушло в море.

— Пойдем на парусе, — сказал Аклеев, когда Вернивечер, преодолевая боль и слабость, вполз кое-как в машинную рубку и самолично обследовал создавшееся положение. — Очень даже просто. Пойдем на парусе. В лучшем виде...

Вернивечер с сомнением посмотрел на него, но промолчал.

Он собрался было уже сказать, что дело — амба, но не сказал. И совсем не потому промолчал, что вдруг пришел к другому выводу.

«Пускай его утешается, — подумал он в ответ на слова Аклеева, — если ему так веселее будет помирать. Пес с ним, пускай и Кутовому голову морочит. Тем более тот человек сухопутный, того в чем угодно убедишь. А я — мальчик тертый. И я могу в случае чего помереть и без самообмана».

Но совсем промолчать было выше его сил.

— А парус из чего делать? — спросил он Аклеева. — Плащ-палатки остались аж на Историческом бульваре. За ними далековато ходить.

— Кабы были плащ-палатки! — мечтательно отозвался Аклеев, стараясь не замечать неверия, сквозившего в каждом слове Вернивечера. — До Новороссийска, браток, приходится о плащ-палатках забыть. А вот из этого тоже должен получиться парусок... На худой случай, конечно... То есть как раз на нынешний... — И он, задрав голову, критически глянул на потолок. Глянул и твердо заключил: — Обязательно должен полу ться. Факт.

— Форменный же штиль! — снова не выдержал Вернивечер, кивнув на блестящую за окном действительно зеркальную гладь моря. — Сами, что ли, будем дуть в парус?

— Будет ветер, — сказал ему Аклеев, — чего-чего, а этого добра у нас будет сколько угодно. Так что даже не будем знать, куда его девать... — И так как он сам был далеко не уверен в своих словах, то решил пресечь разговор в самом начале. — На корме! — окликнул он товарищески у пулемета Кутового.

— Есть на корме! — обрадовался Кутовой, которому стало легче на душе, когда он услышал голос Аклеева, уверенный голос командира, для которого все ясно и заранее предусмотрено.

— Следить за воздухом и водой! — продолжал Аклеев, с трудом приподнимая тяжелое кожаное сиденье и извлекая оттуда топор, ломик и, на всякий случай, новенькое, выкрашенное шаровой краской ведро.

— Есть следить за воздухом и водой!

Значит, за остальное, кроме наблюдения за возможным появлением противника, ему, Василию Кутовому, беспокоиться нечего. Об остальном берет на себя заботу сам Аклеев.

— Ну, а я буду крышу рубать... На парус... — уже обыденным тоном проинформировал Аклеев Кутового и принялся, орудуя топором, со скрежетом и треском отдирать с лимузина его покатую крышу.

Степан Вернивечер, как бы он скептически ни относился в душе к затее Аклеева, не мог позволить себе сидеть сложа руки, когда товарищ его работал.

— Эх ты, зюзя! — промолвил он, больше всего опасаясь, как бы Аклеев не подумал, что он серьезно собрался ему помогать, — разве так отдирают крыши?

И с таким видом, будто снимать крыши с лимузинов для него самое распривычное дело, Вернивечер здоровой левой рукой взял с сиденья ломик, приподнял его, чтобы показать, как надо работать, но от нечеловеческой боли и сильной слабости побелел и, чуть не потеряв сознание, рухнул на сиденье.

— Ты, Степа, ляг и отдыхай, — сказал ему Аклеев. — Тут работенка не шибко мудрящая... А тебе надо в норму входить.

Вериивечер послушно лег на сиденье, оттуда снова глянул на орудовавшего топором и ломиком Аклеева, захотел съязвить, но вместо этого повернулся на левый бок и, уткнувшись лицом в дырявую стенку лимузина, не то от слабости, не то от боли, а скорее всего от нестерпимого сознания своего бессилия, заплакал.

Кутовой не понял, как это из разоренной крыши получится парус, но расспрашивать не стал.

— Значит, так надо в таких случаях,— решил он и стал еще усердней следить за водой и воздухом.

Из всех троих только у Кутового мореходные качества их лимузина не вызвали никаких сомнений. Ему это было вполне простительно. впервые в жизни выходил он в море. До войны, на «гражданке», он имел дело с морским транспортом только в летние выходные дни, на пруду в их шахтерском поселке. Пруд этот старые шахтеры, посмеиваясь, величали «Чудским озером» на том основании, что во время оно в нем были утоплены доведенными до отчаяния рабочими два особенно ненавистные мастера-немца.

Кутовой окинул уважительным взглядом лимузин и усмехнулся, вспомнив неказистые лодчонки «Чудского озера» с их обгрызанными, несоразмерно короткими и толстыми веслами и какими-то хрюкающими уключинами. В сравнении с ними ладный и стройный лимузин с его каютой, машинной рубкой, винтом, штурвалом, с трапчиком, ведущим с кормы в каюту, с окнами, завешанными к тому же матерчатыми занавесками, выглядел могучим кораблем, чудом передовой судостроительной техники.

Правда, кроме обычных, двухвесельных лодок, базировались на «Чудское озеро» и большие, четырехвесельные, которые без всяких на то оснований назывались в этом поселке баркасами.

На баркасах было удобней и безопасней, но девчата, которые обычно из пустого тщеславия стремились «выставлять» своих безропотных поклонников на безумные траты, все же предпочитали почему-то дорогим и шикарным баркасам углые двухвесельные душегубки, на которые и ступить нельзя было без риска опрокинуться в воду.

Проходило несколько лет, девчонка выходила замуж, быстро обрела семейством, становилась благоразумной. Теперь она появлялась на голубенькой дощатой пристани солидно, под руку с мужем, со всем своим выводком. Теперь ее уже ни за что нельзя было заманить на маленькую лодку. Пускай и дороже, но только на баркас.

И так было со всеми. Все его знакомые девчата одна за другой окончательно перешли с двухвесельных лодчонок на баркасы, и это означало, что время не стоит на месте, что люди становятся старше. Вот и он — Вася Кутовой — ученик врубового машиниста, сын старого подрывника Афанасия Ивановича Кутового, сам не заметил, как превратился из Васи в Василия Афанасьевича — знатного человека шахты номер два-бис. И он тоже перекочевал в конце концов вместе со своей сероглазой и пышноволоосой Настей с двухвесельных лодок на баркасы. Теперь они гребли на пару с женой, и она то и дело вскрикивала:

— Костя! Мученье мое! Ну, утонешь же!..

Это ее пугал сынишка, вертлявый, русоголовый, живой, как ртуть. Ему катанье было ни во что, если не зачерпнуть ладошкой воды.

А потом Настя и вовсе перешла на руль, а гребли ее муж — Василий Афанасьевич, и Костя — двенадцатилетний озорник с отцовскими ямочками на щеках, первый силач на дворе нового жилкомбината и пламенный футболист.

Большое румяное солнце нехотя расставалось с прудом. Оно медленно уходило за Карпаты, — так местные шутники называли высокую ромашу терикона, — и напоследок зажигало ослепительные пожары в пыльных окнах шахтного копра. С лодок солнце провожал задумчивый гам баянов, гитар, мандолин, балалаек, человеческих голосов. Играли и пели на каждой посудине свое и часто печальное, а получалось все равно весело и хорошо, и не хотелось уходить с пруда. Но уходить все же надо было, и тогда обычно с какой-нибудь лодки затынет, бывало, чистый молодой тенорок: «Солнце нызе-енько...», и на остальных лодках вступали: «...вечер блы-ызэ-енько...», и Кутовой тоже подтягивал, и Настя, и Костя высоким своим мальчишеским альтом, и вот уже весь пруд пел ласковую и душевную песню, а в потемневшем небе тем временем робко возникали первые бледные звезды поздних летних сумерек...

Удивительное дело, каждый раз, когда Василию Кутовому выдавалась на войне возможность немножко помечтать, сразу всплывали перед ним эти теплые летние сумерки в родном поселке и неторопливое возвращение с катания домой, в новую квартиру. Каждый раз их встречала у самого порога его старуха-мать и каждый раз с облегчением произносила одну и ту же фразу: «Ну, слава богу, все живые!» и звала отважных мореплавателей к столу, где их ждал старик-отец, который считал ниже своего достоинства показывать, что он тут без них скучал.

И еще почему-то вспоминалась Василию Кутовому Лизавета Сергеевна, сварливая и желчная жена добрейшего забулдыги-штейгера Пискарева. За глаза ее называли «штейгериха», а то и просто «язва». И когда произносили слово «язва», то все сразу знали, о ком идет речь. Лизавета Сергеевна приходила по вечерам, когда она могла застать самого Василия Афанасьевича. Каждый раз она приносила ему одну и ту же жалобу на Костю. Костя воровал яблоки из ее сада.

Нажаловавшись, штейгериха кидала торжествующий взгляд на Костю и уходила. Кутовой вежливо провожал ее до дверей и запирали их на ключ. Тем самым Косте отрезался путь отступления на улицу. Потом Кутовой со зловецким видом снимал с себя ремень и начинал погоняться вокруг стола за своим преступным сыном.

Костя был, как мы уже упоминали выше, футболист, ловкий и увертливый правый бек, и поймать его было трудно, но не невозможно. От матери своей Костя спасенья не ждал. Когда-то, лет семи, на самой заре своей хищнической деятельности, он попробовал как-то воздействовать на ее материнское сердце. Он возопил «мамо, ратуйте!» таким голосом, что камень и тот бы разрыдался. Но Настя, скрепя сердце, промолчала. С тех пор Костя в таких случаях полагался только на свои ноги, стараясь во что бы то ни стало выиграть время: авось кто-нибудь постучится. Гости становились в такой момент единствен-

ной его надеждой. Но если гостей не было, то быстрые ноги и ловкость Косте не помогали. Запыхавшийся от погони отец семейства, Василий Афанасьевич Кутовой, мощной рукой вытаскивал из-под стола или кровати залезшего туда в отчаянии Костю, клал своего первенца к себе на колени и безжалостно отсчитывал ремнем десять ударов, приговаривая:

— Я прямо-таки удивляюсь с этого босяка. Ну в кого он, я вас спрашиваю, уродился?

Увы, нет на свете справедливых отцов! Косте ничего не стоило бы сообщить своему разгневанному родителю, в кого он уродился. Дедушка Афанасий Иванович не раз вспоминал, как он за те же преступления, совершённые, кстати говоря, в том же саду, нещадно порол своего ненаглядного сыночка Васю.

Но Костя понимал, что такие напоминания ни к чему хорошему не приведут, и поэтому во время экзекуции только сопел, прощения не просил, не унижался, держал себя стойко и, насколько это было возможно в его прискорбном положении, даже независимо.

— Ничего не скажешь,— усмехнулся Кутовой, продолжая усердно следить за водой и воздухом,— гордый пацан. Вырастет, человеком будет.

Обычно после этого он начинал думать о том, что будет с Костей, если он, Василий Кутовой, погибнет на войне. Деда Афанасия Ивановича немцы расстреляли вместе с двумя сыновьями Пискарева за то, что они сообща подорвали копер на родной шахте. Бабка не то с горя, не то с голоду умерла. Это ему определено известно. Ему об этом сообщил письмом с Южного фронта младший брат Сережа — капитан-танкист. А тому рассказал пришедший из-за линии фронта знакомый шахтер-партизан. Он же рассказал, что Настя с Костей куда-то уехали, эвакуировались а куда именно, никто толком не знал. Кто говорил — на Кубань, а кто — в Сибирь. А может быть, на Волгу. Как они туда добрались, в эти незнакомые края? Да и добрались ли они вообще? Без денег, без провизии, без родных, как птицы небесные. А может быть, их эшелон фрицев разбомбили? Вполне свободно может статься. А если Настя с Костей и благополучно доехали, то как они проживут до конца войны — одинокая женщина с пацаном, у которого в голове ветер гуляет, и как они потом доберутся назад, на родину, в Донбасс, и кто их там встретит, и как они там устроятся — вдова с сироткой?

Каждый раз, когда Кутового начинали одолевать эти грустные мысли, он утешал себя: «Ничего! Добрые люди не оставят семью погибшего моряка. Да и сама Настя очень даже неглупая женщина. Ничего! Не пропадут. Вырастет Костя хорошим человеком. Воюй, Василий!»

Так он сказал себе вчера, когда они еще лежали на той сопочке и считали, что доживают последний час жизни.

Но сейчас, когда ему с товарищами удалось из-под самого носа фрицев уйти в открытое море, и особенно после того как они — шуточки сказать! — потопили фашистский торпедный катер, Кутовой был уже твердо убежден, что, вероятно, вернется с войны живым и здоровым. «Ого! — думал он, улыбаясь своим мыслям, — все образуется». Затем,

пришедшая ему в голову прекрасная идея готовить Костю в морские командиры так понравилась Кутовому и повлекла за собой столько других мыслей, что он не заметил, как Аклеев, отодрав половину крыши лимузина, внезапно прекратил работу и пришел к нему на корму.

— Кутовой! — тихо промолвил Аклеев, и Кутовой даже вздрогнул от неожиданности. — Ты ничего не заметил?

— А что? — встрепенулся виновато Кутовой. — Самолетов вроде не видеть... И ничего такого другого тоже...

— Тебе не кажется, — еще тише промолвил Аклеев, покосившись на вставшего в полузабытье Степана Вернивечера, — тебе не кажется, что нас несет к берегу?

То-то Кутовой чувствовал, что воздух посвежел и легче стало дышать...

Собственно говоря, ничего удивительного не случилось. С чего было ожидать, что ветер будет обязательно мористый? Мог быть мористый, а мог быть и тот, который сейчас с мягкой настойчивостью палача, которому некуда спешить, подталкивал лимузин все ближе и ближе к немцам, к гибели.

До берега было еще далеко. Он виднелся, вернее, угадывался на самом горизонте тонким рыжеватым волнистым краешком необъятного купола праздничного голубого неба.

— Если не усилится, — промолвил Аклеев, проделав в уме какие-то вычисления, — то как раз к закату солнца нас и прибьет к берегу. У тебя все диски набиты?

— Все, — ответил Кутовой, — и обе ленты тоже. Значит, снова воевать на берегу?

— Если нас раньше не потопят, — уточнил обстановку Аклеев, — что, впрочем, вряд ли...

Дело в том, что вчера, уходя от обстрела с берега, Вернивечер, к великому неудовольствию Аклеева, увел лимузин к северо-западу от путей, которыми уходили на Новороссийск наши корабли с эвакуированными войсками. Сейчас ветер гнал лимузин прямо к берегу, то есть к тем местам, где немцы обосновались давно, еще в самом начале осады Севастополя. А фронт, если так еще можно было называть клочок перепаханной бомбами и снарядами рыжей земли, фронт был сейчас у самой тридцать пятой батареи. Там немцы и подкарауливали с воздуха, с берега и на воде наши уходившие корабли. Здесь же стояла глубокая тыловая тишина.

Все эти соображения Аклеев и выложил перед Кутовым. Выходило, по его словам, что фрицев на этом берегу может и вовсе не оказаться. В крайнем случае придется столкнуться с какими-нибудь тыловиками и, если удастся справиться с ними без особого шума, то можно будет потом попробовать пробиться в горы, к партизанам.

— Через весь Крым? — усомнился Кутовой.

— Почему же через весь? — возразил Аклеев. — Но, конечно, придется пробиться к Байдарским воротам.

— Не выдержит этого Вернивечер, — сказал Кутовой. — Ослабел, совсем сонный стал. Чересчур много потерял крови.

— Не выдержит — на себе потащим.

— И я так думаю, — очень просто согласился Кутовой и, помолчав, добавил:

— А если нам, скажем, весла сделать, а? И на веслах пойти против ветра? Из этих палок, — он указал на ботовые поручни, — очень великолепные весла могут получиться.

— Ну это, положим, не палки называются, а леера.

— Ну, из лееров.

— А грести кто будет?

— Мы с тобой будем. На пару. Ты не сомневайся. Я грести умею.

— А на сколько нас хватит двоих? — усмехнулся Аклеев. — Кабельтовых на два от силы. Третий день не евши.

— Значит, к берегу?

— Выходит так... По крайней мере, воды напьемся... И фрицев нащелкаем за те же деньги.

— И це вирно, — согласился Кутовой, а про себя подумал, что вряд ли Настя сама догадается отдать Костю учиться на морского командира. — Значит, зря крышу отдирали? — усмехнулся он в свою очередь. — Не получился из нее парус?

— Может, и не зря, — спокойно отозвался Аклеев. — Только маневры против ветра у меня с ним не получатся. Мой парус только для попутного ветра.

— Хорошо, — сказал Кутовой, чтобы хоть что-нибудь сказать. — Прокладно!

Они присели на трапчике и обсудили план действий на берегу. Решено было, что Аклеев с ручным пулеметом сойдет разведать обстановку, а Кутовой пока останется на лимузине у «максима». О Вернивечере, собственно, почти и не было разговора. Вернивечер из строя выбыл окончательно. Если он все же будет настаивать на своем участии в бою, сказать, чтобы подождал, пока кого-нибудь из них убьет или тяжело ранит. Тогда, мол, Вернивечер и займет за пулеметом место выбывшего из строя.

Кроме того, решено было пулеметы убрать в каюту и самим уходить туда же при появлении самолетов и плавсредств врага, чтобы лимузин производил впечатление разбитого и брошенного своим экипажем. Наполовину сорванная крыша должна была усугублять это впечатление.

Договорились — и сразу стало нечего делать. Надо было бы, правда, окатить водой палубу, чтобы смыть кровь, но решили с этим повременить, чтобы не тревожить уснувшего Вернивечера.

Так и остались они оба сидеть на корме, молчаливые, хмурые, погруженные в свои невеселые думы. Ветер дул нехотя, берег приближался медленно, почти незаметно и солнце совершало свой путь по небосводу неторопливо, словно вахтенный, которому еще далеко до смены.

Кругом широко раскинулся пейзаж, утомительно однообразный в своем великолепии. Ослепительно блестело чуть подернутое рябью море. Над головой висело пустое и знойное июльское небо. Наверху голубизна непорочной, неживой чистоты, внизу такая же безукоризненная равно-

душная синева. Не мелькали белым острым крылом чайки, не выскакивали из тяжелой синевы крутые спины дельфинов с покатыми треугольниками плавников. Чаек распугала канонада, дельфинов разогнали снаряды, мины, бомбы.

Только на самом горизонте чуть видно набухало сероватое облачко.

Аклееву почему-то вспомнилось, как еще до войны приходил на их эсминец лектор и рассказывал, что на глубине не то трехсот, не то четырехсот метров начинается в Черном море мертвое царство сероводорода. От этой мысли Аклееву стало еще мутрней на душе.

Он глянул на Кутового. Кутовой сказал:

— Красиво!— и снова замолк.

Время от времени Аклеев вглядывался в облачко, всплывавшее из-за горизонта. Оно возбуждало в нем кое-какие надежды, но он не спешил делиться ими с Кутовым. Аклеев понимал, что значит в теперешней обстановке еще одну разочарование.

— Ты бы пошел отдохнуть,— сказал он Кутовому.

Кутовой только головой мотнул и остался на корме.

Так прошел в безмолвии час или два, а может быть, и все три. Потом скрипнула дверь каюты, и в ней показался Вернивечер. Его небритые щеки, покрытые редкими желтоватыми волосиками, ввалились и приобрели нехороший, землистый оттенок, запавшие глаза блестели нездоровым блеском. Его лихорадило. Потеря крови, голод, жажда и сильная боль делали свое дело точно, образцово, как в учебнике медицины. Вернивечер еле держался на ногах, но у него и в мыслях не было жаловаться.

— Загораем?— усмехнулся он и оперся о низенькую притолоку двери.— Самая, между прочим, здоровая обстановка. Воздух, солнце и вода.

— Садись, Степа!— сказал Кутовой и уступил ему самое удобное место, на трапчике.

Вернивечер послушался, сел.

— Мы тут, Степа, обсуждали обстановку,— начал Аклеев,— и мы решили...

— Знаю,— прервал его Вернивечер и снова усмехнулся,— я все слышал. Мне — ждать, пока кого-нибудь из вас убьет... А кто останется жив, тот меня на себе потащит к партизанам... Через Байдары... Для комиссии все ясно...

Когда настает после жаркого боя веселый миг бачковой тревоги, а по-сухопутному — час приема пищи, могут распаленные удачей и радостью жизни бойцы и посудачить, и поязвить, и потрепать языками насчет девчат и любви. Стоит только кому-нибудь первое слово сказать, и пойдет тогда и хвастовство и розыгрыш, и великий брех, а по-морскому «травля».

Но в томительные и торжественные часы перед боем, когда не знаешь, увидишь ли ты когда-нибудь еще солнце над своей головой и привольное море за бортом родного корабля, тогда, словно пыль в шторм, слетает с бойца легкая шелуха незатейливого и грубоватого молодечества. И снова чисты тогда матросы и в словах, и в помыслах,

как чистое дело, за которое они, быть может, совсем скоро отдадут свою жизнь. И хочется им тогда беседы душевной и простой: о родных краях, о семье, о детях, о стариках, о жене, о любимой. Вытащат они тогда на свет божий заветные фотографии, порыжевшие и пожухнувшие от злого матросского пота, будут долго и как будто впервые всматриваться в милые черты, и товарищам своим покажут, и еще раз глубоко, сердцем, душой, всей кипящей кровью своей почувуют святость и необходимость подвига, которого ждет от них родина и счастье их близких и любимых.

Если спросит у тебя товарищ в такую минуту, есть ли у тебя любимая, отвечай коротко: «да», «нет», «конечно». И обязательно осведомись: «А у тебя?», потому что спросивший хочет говорить сам.

Глянул Вернивечер на Аклеева и вдруг рассмеялся:

— Ой, Никифор, да у тебя же борода плюшевая!

Тогда в свою очередь глянул на Аклеева Василий Кутовой и удивился, до чего метко выразился Вернивечер. Щеки и подбородок были у Аклеева покрыты ровной и густой шелковистой щетиной забавного зеленовато-коричневого цвета. Кутовой даже вспомнил по этому случаю игрушечного медвежонка, которого давным-давно покупал Косте ко дню рождения и должен был согласиться, что, верно, щеки у Аклеева стали ни дать ни взять плюшевые.

А Аклеев провел ладонью по лицу и, чтобы поддержать налаживавшийся веселый разговор, важно прибавил:

— Отпускаю бороду. Как адмирал Макаров.

— Тогда тебя девушки любить не будут,— предупредил его Вернивечер.— И создастся для тебя, Аклеев, угрожающее положение... А ты свою жену любишь?— обратился он без всякой видимой связи к Кутовому.

— Люблю,— ответил Кутовой,— она у меня хорошая.

— А ты, Аклеев?

— А я неженатый,— сказал Аклеев.

— Ну, значит, девушку имеешь?

Вот то-то и оно, что на этот вопрос ему не так легко было ответить. И если бы Вернивечер знал Аклеева поближе, то, пожалуй, и вовсе воздержался бы от этого вопроса. Но они были знакомы всего лишь шесть сутки, с тех пор как из остатков нескольких обескровленных батальонов с трудом укомплектовали один, сразу же пущенный в дело. При других условиях бывалый и тонкий Вернивечер понял бы, что Аклеев не из тех людей, которые легко раскрывают перед другими, пусть даже и ближайшими друзьями, свои сердечные тайны.

Флегматичный, молчаливый и суховатый на вид, он был горд до застенчивости. Когда он встречал приглянувшуюся ему девушку, его томила жестокая и непреодолимая боязнь показаться смешным, и он проходил мимо нее с суровым и даже злым выражением лица. Он не мог себя заставить посмотреть этой девушке в глаза и в то же время изнемогал от желания сделать это. А так как девчата в наш век пошли на редкость наблюдательные, то они с первого взгляда разгадывали действительные чувства, обуревавшие этого долговязого красно-

флотца с умным и упрямым лицом и большими синими глазами под выгоревшими на крымском солнце густыми бровями. Больше всего в жизни боявшийся показаться смешным, он вызывал поэтому у девушек чуть снисходительную насмешливую улыбку, в которой, впрочем, как все мы знаем, ничего особенно обидного никогда не бывает. Многим он, несмотря на свою застенчивость, а может быть, именно поэтому, нравился, но сам он об этом и не подозревал. Он был о себе не очень высокого мнения.

До флота, на «гражданке», в Москве он, работая цинкографом в одной из типографий, был тайно влюблен в хорошенькую и, повидимому, неглупую линотипистку. Но она, так и не дождавшись его признаний, вышла замуж за заместителя начальника цеха.

В Севастополе его чувства вторично подверглись серьезному испытанию. Как-то веселым майским воскресеньем он, уволившись на берег, одиноко сидел на скамейке Приморского бульвара, и случилось так, что около него освободилось место. Его заняла девушка, на которую он уже не раз бросал быстрые и осторожные взгляды.

Была она спортивного склада, плотная, как колобок, чудесные русые волосы, высоко взбитые по самой последней моде Корабельной стороны, были по той же моде зачесаны за уши. Небольшие, чуть раскосые карие глаза блестели на ее забавном и задорном лице, как свежие арбузные косточки. Аклеев заметил, она всегда гуляла с книжкой в руке: культурная девушка. Аклееву такие нравились.

— Можно? — спросила она у покрасневшего Аклеева и, очевидно, не сомневаясь в его ответе, развернула книжку и осторожно, чтобы не помять и не запачкать платье, уселась на ней.

Она просидела бы до глубокой ночи, не дождавшись ни единого слова от своего оробевшего соседа, но первая завязала разговор, и через пять минут они уже болтали так, будто были знакомы тысячу лет. Еще он не знал, что зовут ее Галя Сырварова и что она работает воспитательницей в детском саду, а уж он был влюблен в нее по самый клотик. Оказывается, Галя мечтает поехать в Москву учиться. В какой вуз? Все равно в какой, но только в Москву. Здесь, в Севастополе, она задыхается.

Аклеев как бы вскользь сказал ей, что он москвич. Тогда она посмотрела на него с уважением и стала расспрашивать про Москву, про театры, про магазины, конечно. Галя слушала, вздыхая, и под конец сказала:— Куда уж севастопольским девушкам до московских!— потом снова пожаловалась, что она в Севастополе буквально задыхается.

Тогда Аклеев счел долгом справедливости вступить за этот город, который он за семь месяцев службы уже успел полюбить, но Галя только поморщилась:— Ах, бросьте, пожалуйста!

Нет необходимости излагать подробности их беседы. Достаточно сказать, что часа два Никифор считал себя самым счастливым человеком в Севастополе. А потом, когда Галя, глянув на часы, вдруг заторопилась и объяснила причину своей спешки, Аклеев в какую-нибудь секунду стал самым несчастным человеком во всем Рабоче-крестьянском Военно-морском флоте. Оказалось что Галя спешила на Графскую пристань встречать своего, как она выразилась, лучшего друга в жизни. Он тоже краснофлотец и такой замечательный, и такой храб-

рый, храбрый, и ужасно веселый. Галя обещала познакомить Аклеева со своей подружкой, очень милой шатеночкой, которая ему обязательно понравится, тогда они все: и Галя со Стивой, Аклеев с этой шатеночкой будут всегда вместе гулять.

Аклеев, понурив голову, слушал ее щебет, покорно соглашался, что да, конечно, обязательно они будут друзьями и будут вчетвером гулять. А про себя он уже в это время твердо решил, что ни с какой шатеночкой он знакомиться не будет, да и с Галей он не станет встречаться, потому что все это теперь ни к чему и даже унижительно, раз у нее уже есть какой-то чортос Стива.

Не повезет же иногда человеку! Даже имя у его счастливого соперника было красивое, как у Облонского в «Анне Карениной», а у него что за имя? Никифор! Тьфу!

Правда, из разговора с Галей ему удалось тут же выяснить, что зовут Стиву всего навсего Степаном, а это его Галя в Стиву перекрестила. Но дело было, конечно, не в имени.

Неизвестно, хватило ли бы у Аклеева силы воли воздержаться от встреч с Галей. Мы знаем, что и поистине железные люди не всегда оказываются в состоянии выполнить такое решение. Аклееву помогло выдержать характер то обстоятельство, что его корабль вскоре вышел на большие отрядные учения. Но легче ему от этого не стало. Стоит он, бывало, на вахте около своего ДШК, а кругом раскинулась мягкая южная ночь, звезды над головой мерцают задумчиво и нежно, за кормой, шелестя, стелется пышный фосфоресцирующий бурун, снизу чуть слышно доносится на мостик могучее дыхание машин, и сами собой лезут в голову воспоминания о встречах и мечты о свиданиях, которые еще впереди.

Аклеев раз и навсегда решил не вспоминать о Гале, но относительно Стивы он такого зарюка не давал. И вот, стоя на вахте, мечтал он в такие ночи о том, как этот неизвестный и ненавистный Стива вдруг окончательно исчезнет из поля зрения Гали Сыроваровой. Лучшее всего было бы, если бы его перевели куда-нибудь подальше. Например, на Тихоокеанский флот...

Кончились, наконец, отрядные учения, эсминец снова отшвартовался у Мийной пристани. На другой день Аклеев собирался в город, но утром началась война и вместе с нею прекратились увольнения на берег...

Теперь каждому ясно, почему в ответ на вопрос Вернивечера, есть ли у него любимая девушка, Аклеев промолвил:

— Нет... А у тебя?

#### IV. ВЕРНИВЕЧЕР РЕШАЕТ ПО-СВОЕМУ

Вернивечер, видимо, только и ждал этого вопроса. Его обычно насмешливое лицо стало задумчивым, мечтательным, ввалившиеся земляные щеки порозовели.

— Девушек у меня было много, — сказал Вернивечер, — но любовь одна, и эта любовь удивительно необыкновенная. Мы познакомились, совсем как в кинокартине, — на стадионе. Я играю правого бека (как мой

Костя! — нежно вспомнил Кutowой), а она бегала. Ну, она еще не так хорошо бегала, не во всесоюзном еще масштабе, потому что она еще не имела практики. А я как раз играл за сборную флота и в тот день такие мячи давал, как в сказке. А в перерыве она ко мне сама подходит и говорит: «Вы, товарищ Вернивечер, так играли, что вам не стыдно было бы на московском стадионе «Динамо». Я ей говорю: «Ну, это, положим...» А она: «Ничего вы в таком случае в московском футболе не понимаете».

Я ей опять говорю: «Ну, это, положим...»

А она рассердилась: «Что это вы заладили, как сорока, «положим, положим»? Что у вас — других слов нету?»

А я ей: «Что вы, говорю, товарищ девушка, я и другие слова знаю. Например...» — тут я ей, братцы, в самые глаза глянул, да как ляпну: «Например, вы мне очень нравитесь».

И рассмеялся. Совестно стало.

А она как покраснеет и говорит:—«Ну, это, положим...»

А потом спохватилась, верно, что повторяет мои слова, и тоже рассмеялась. А я смотрю на нее и радуюсь, и мне становится необыкновенно весело.

«А откуда, спрашиваю, вам моя фамилия известна?»

Она говорит: «Мне девчата сказали. Я вас уже давно заметила».

«А я, говорю, всегда тоже наблюдаю, как вы бегаєте».

Она говорит: «Ах, оставьте, пожалуйста. Это вы нарочно так говорите».

Тут я, чтобы она чересчур много про себя не думала, говорю: «Нет, ей-богу, наблюдаю. Но только вы еще не очень хорошо бегаєте. Еще вам до рекордов далеко».

Другая бы рассердилась на такие слова, а она без всякой досады мне возражает: «Я не для рекордов бегаю, товарищ Вернивечер, а для здоровья».

«А я что, говорю, для болезни играю? Я тоже для здоровья... И для грядущих боев. Только, говорю, пока я еще не контр-адмирал, зовите меня Степа».

И пошло, и пошло. И ушел я со стадиона в тот день на всю жизнь влюбленный. Хотите верьте, хотите нет.

— Нет, почему же, — сказал Кutowой, — мы верим. Дело житейское. Любовь.

— Подумать только! — продолжал Вернивечер, как бы размышляя вслух.—Ходишь ты с годками на берег, гуляешь, выпиваешь, холостякуешь, а в то же самое время где-то, может даже совсем поблизости, ходит твоя судьба, твое самое что ни на есть счастье... Удивительно

Он забыл о своих ранах, о том, что лимузин несет к берегу, что каждую минуту с берега, с воздуха или с моря может притти смерть. Вернивечер был во власти воспоминаний.

— И как только увольнение, так вместе и ходим, и больше нам ничего не надо. Потом уже перед самой войной вывихнул я себе на тренировке ногу. Положили меня в госпиталь. Лежу, скучаю. Крейсер в море, на отрядных учениях, а ей ничего не сообщаю: испытываю ее любовь. Ну, в первое воскресенье она, конечно, не пришла. На бульваре прождала. А во вторник разузнала и после службы прямо

ко мне в палату. С букетом. Как к роженице какой. «Стива, говорит, что с тобой? Почему ты мне не сообщил?» А сама такая необыкновенно бледная, что мне ее жалко стало...

Неясное подозрение зашевелилось в душе Аклеева: Стива, который на самом деле Степан... И тоже краснофлотец... И у него девушка, которая его очень любит... А вдруг это тот самый Стива?

Он бросил быстрый взгляд на полудремавшего Вернивечера, и его поразило, что вид его возможного счастливого соперника не вызвал в нем никаких свирепых чувств. Аклеев даже на миг усомнился: не разлюбил ли он, наконец, Галя. Ведь со времени их знакомства и единственной встречи пошел уже второй год. Но только он воскресил в памяти милый образ Гали с ее веселыми, чуть раскосыми глазами, блестящими, как свежие арбузные косточки, и он понял, что любит ее попрежнему, что нет на всем белом свете девушки, к которой его влекло бы так сильно. Хотя он еще тогда, при встрече, убедился, что она совсем уж не такая культурная, как ему сначала показалось.

И все же факт оставался фактом. Степан не вызывал в нем ничего, кроме дружеского участия и того щемящего чувства виноватости, которое всегда испытывает человек, вышедший из боя невредимым, при виде своего тяжело раненного товарища.

«Это, наверно, потому, что нету с нами на лимузине Гали, — решил Аклеев, любивший всякое поражающее его явление осмыслить до конца. — А была бы тут рядом Галя, да плакала бы, что ее Стиву ранило, да ласкала бы его, голубила, целовала, так тогда бы я, небось, волком взвыл». Он подождал, пока Вернивечер снова раскрыл глаза, и, набравшись духу, осторожно осведомился у него:

— Разве тебя Стивой зовут?.. Ты же форменный Степан.

— Это она меня Стивой окрестила, — виновато пояснил Вернивечер, и у Аклеева снова холодок прошел по сердцу, — ей больше нравилось Стива. А мне что? Лишь бы любила.

— А сама, небось, не иначе как Галя... Или Светлана... Или Муся? — продолжал Аклеев свои расспросы, стараясь придать своему лицу самое безразличное выражение.

— Как раз Муся! — удивился Вернивечер. — Ты что, угадал или... знаком?

— А чего тут не отгадать? — ответил Аклеев, приставив к глазам ладонь козырьком и с преувеличенным вниманием разглядывая узенькую полоску все еще очень далекого берега. — Всякий отгадает. В Севастополе что ни девушка, то или Галя, или Светлана, или Муся... — Он помолчал и с веселым ехидством добавил: — А что ни Степан, то обязательно Стива...

Вернивечер посмотрел на него с сомнением:

— Ну, эта твоя теория в корне неправильная. Просто чистая случайность, что ты угадал.

— Пускай будет случайность, — успокоил его Аклеев. — Главное, что она тебя крепко любит. Это уже без сомнения.

— Кабы ты был пророк! — протянул Вернивечер.

— Я не пророк, — сказал ему в ответ Аклеев, — но я понимаю женскую душу.

Вернивечер замолк, поживаясь от легкого ветерка. Его знобило.

С удовлетворением убедившись, что Вернивечер ничего общего с Галей не имеет, Аклеев перенес свое внимание на давно заинтересовавшую его одинокую тучку, которая уже поднялась довольно высоко над горизонтом, успела вырасти в большую свинцового цвета тучу и быстро плыла на юг по пустому голубому небу. Вслед за нею выползала из-за горизонта еще одна туча и еще. Было похоже, что они несут с собой свежий ветер, а может быть, и шторм. Это грозило утлому лимузину, к тому же потерявшему управление, тяжелыми испытаниями. Но ветер, который они с собой несли, погнал бы лимузин на юг, а не к крымскому берегу. Это вселяло в Аклеева надежду, которой он все же не решался пока поделиться со своими спутниками.

Еле заметный гул мотора заставил его встрепенуться. С берега, очевидно, с Качинского аэродрома, прямым курсом на них летел «Мессершмитт». Было бы слишком наивным полагать, что именно их лимузин является целью вылета фашистского истребителя. Но в те горькие июльские дни таких отчаянных суденышек, уходивших из Севастополя в открытое море, было немало, и все они представляли собой благодарную и почти безопасную цель для пулеметов и пушек немецких летчиков, проявлявших при нападении на них очень дешево стоившее бесстрашие.

Нечего было и думать о том, чтобы на потерявшем ход лимузине принимать бой с бронированным и богато вооруженным истребителем. Нужно было скрыться в каюте, и как можно быстрее.

Но это оказалось не так просто. Кутовой, бросившийся было туда со своим пулеметом, впопыхах задел локтем тяжелую подымавшегося с трапа Степана Вернивечера. Тот охнул, побелел и упал бы, если бы его не подхватил Аклеев. Вернивечера пришлось почти внести на руках и уложить на сиденье. Потом они вдвоем втащили «максим», неожиданно оказавшийся непосильно тяжелым для одного Аклеева.

Когда Кутовой выполз за своим пулеметом, «Мессершмитт» был уже метрах в восьмистах. Он летел низко, почти на бреющем полете. Ноющий вой его мотора неумолимо нарастал, рвал барабанные перепонки, пронизывал тело противной холодной дрожью.

Есть нечто глубоко оскорбительное для человеческого достоинства в пассивном, пусть даже и вынужденном ожидании приближающейся смертельной опасности. Трусам легче. Им это чувство неведомо. Страх парализует их дряблую волю, их робкий мозг. Еще задолго до того, как пуля или осколок достигнет их, они уже не люди, а пульсирующие трупы.

Но настоящих людей, тех, кто любит жизнь, а не боится смерти, это чувство возмущает, гнетет, выводит из себя.

— Может, все-таки выскочим с пулеметами, а?— хрипло произнес Кутовой.— Боезапаса хватит...

— Без бронебоек?— сумрачно отозвался Аклеев.— Лежи, пока живой.

Они лежали рядышком, тесно прижавшись друг к другу, еле уместившись в тесном проходе между сиденьями. Кутовой чувствовал, как часто-часто бьется сердце Аклеева.

И вот, спустя несколько секунд, над лимузином с чудовищным, душу шмыгивающим ревом пронесся немецкий истребитель. Сквозь полуорванную крышу можно было заметить, как промелькнула плоскость самолета с черным крестом, обведенным белыми полосами.

— «Мессершмитт!»— сказал Кутовой, точно это без его слов было неизвестно Аклееву. Ему вдруг стало нестерпимо, физически трудно молчать.

Но Аклеев молчал.

Кутовой попробовал отвлечь свое внимание от самолета. Он посмотрел на забавную бородку Аклеева, попытался снова вызвать у себя в памяти плюшевого медвежонка, которого когда-то (сейчас это казалось совсем давно, в другом столетии) покупал Косте ко дню его рождения. Но он так и не смог хоть на миг заставить себя забыть о «Мессершмитте», о фашистском летчике, который был где-то совсем близко и в то же время в полной безопасности и мог так, между делом, убить его — Василия Кутового, и Никифора Аклеева, и Степана Вернивечера.

И не страх за свою жизнь мучил сейчас Кутового. Страх не было. Кутовой даже успел этому удивиться. Его душила лютая, никакими словами неопишуемая ненависть к немцам и мучительная досада на свою беспомощность.

— Ничего! — яростно шептал он, обращаясь не то к своим товарищам, не то к самому себе. — Ничего! Ще мы побачимось! Ще я из тэбэ, бисов эрзац, кишки повыпущу!.. Ще мы с тобой, гадюка...

Но конец его новой угрозы потонул в грохоте приближавшей машины, — с сумасшедшим треском затарахтели очереди крупнокалиберного пулемета. Одна, другая, третья, четвертая. Потом совсем низко промчалась зловещая тень самолета, и в кабине на мгновение наступили сумерки, как во время солнечного затмения, а потом сразу стало по-прежнему светло и совсем тихо.

«Мессершмитту» некогда было возиться с каким-то ничтожным, полуразбитым катерком, не показывавшим к тому же никаких признаков жизни. «Мессершмитт» улетел в район тридцать пятой батарен, туда, где он мог рассчитывать на более богатую добычу.

— С легким паром! — промолвил минуту спустя Аклеев, поднимаясь с палубы. — Даже вспотел. — Он с удовольствием потянулся: — Ну как, все живы?

— Вроде все, — неуверенно отозвался Кутовой, покосившись на лежавшего лицом к переборке Вернивечера.

— Степан! — окликнул Аклеев Вернивечера.

— Ничего со мной не случилось, — буркнул тот, не оборачиваясь. — Я б сейчас соснул...

— Ну вот и отдыхай, — обрадовался Аклеев. — Это ты правильно решил — отдыхать.

Он тщательно осмотрел лимузин от носа до флагштока на корме и только у самого форштевня обнаружил три свежие пробоины, не представлявшие никакой опасности.

— Нет, — сказал он, подводя итог осмотру, — фриц-то оказался очень даже не асс.

Кутовой добавил к этой скупой характеристике несколько словечек, которые здесь не стоит приводить, Вернивечер снова промолчал, и Аклеев, поняв, что его надо оставить сейчас в покое, вернулся с Кутовым на прежнее место, на корму.

Вернивечер только этого и ждал.

Вернивечеру очень не хотелось умирать. Кипучая натура, легко увлекающийся, храбрый и незлой, хороший парень и любимец женщин, он всегда был полон всяческих планов и жизнь любил так, как может ее любить молодой человек, только что перешагнувший в третий десяток.

Ему еще очень многого хотелось. Ему еще нужно было бить немцев до полной победы; жениться на Мусе; пожать руку Сталину; поступить в ВУЗ; написать книгу (да, обязательно книгу!) воспоминаний об обороне Севастополя и обязательно такую, чтобы заткнуть за пояс всех писателей; прогуляться по побежденному Берлину; побывать в Москве и Америке; присутствовать на казни Гитлера; играть правого бека в сборной СССР; изобрести снайперский портативный пулемет с оптическим прицелом; повидаться с матерью и братишкой, оставшимися в Ростове-на-Дону, где он до войны работал шофером.

Вернивечер вспомнил: завязался как-то в их батальоне еще под Меккензиевыми горами спор. Один матрос, его потом убило под Итальянским кладбищем, сказал:

— Если я останусь без ноги или без руки, застрелюсь. Не будет пистолета, под машину брошусь, подорвусь на гранате, выброшусь из окна госпиталя, с подножки санитарного вагона, утоплюсь, но только не стану калекой жить.

Конечно, с ним все заспорили. Вернивечер сказал:

— Застрелиться всякий дурак может. Жизнь это не танцы, хотя и очень приятная вещь. А я останусь без руки, все равно буду хотеть жить. Даже больше, нежели до ранения. Без обеих рук останусь, с обрубленными ногами, без глаз — все равно буду радоваться, что живой.

Ему тогда закричали:

— Ну это ты, Степа, перегнул! Ты всегда через край перехватываешь. Без рук, без ног, слепому — какая жизнь!

А он им тогда в ответ сказал только три слова:

— А Николай Островский?

Нет, Степану Вернивечеру очень не хотелось умирать, и все же он решил умереть, решил окончательно и бесповоротно.

Мысль об этом впервые пришла ему в голову, когда он нечаянно подслушал из каюты, разговор Аклеева с Кутовым. Он прекрасно понимал, что значит двум истощенным бойцам высаживаться на берег, занятый противником, вести неравный бой и пробиваться через Байдары к партизанам, которых тоже не сразу разыщешь. Было всего несколько шансов из ста, что это им удастся. Но и эти ничтожные шансы могли полететь ко всем чертям, если Аклеев и Кутовой потащат его на себе. А Вернивечер знал, они его ни за что не бросят. Значит, из-за него и они должны будут погибнуть. Благородно, спору нет, но совершенно ни к чему.

Вернивечер был самолюбив, и сознание, что он стал обузой для своих товарищей, помехой в их борьбе за жизнь, мучило его не меньше, нежели все усиливающаяся боль в плечех.

Когда появился последний «Мессершмитт» и Вернивечера, почти

потерявшего сознание от нечаянного толчка, уложили на опостылевшее сидение, ему не давал покоя один вопрос: заметил ли немец движение на лимузине, или не заметил? Если заметил, то, конечно, только потому, что и Аклеев, и Кутовой, вместо того, чтобы быстро скрыться с пулеметами в каюту, вынуждены были заниматься его стонущей особой.

Вернивечер решил: если «Мессершмитт» движение заметил, то обязательно обстреляет. И вот «Мессершмитт» действительно обстрелял лимузин. На сей раз обошлось благополучно. Но ведь таких неожиданных могло еще приключиться сколько угодно, и Вернивечер не считал себя более вправе пользоваться благородством своих товарищей.

Ему хотелось на прощание сказать им что-нибудь очень хорошее, теплое, даже нежное. Они сейчас, когда он уже принял решение, стали для него еще родней и ближе. Но он побоялся, как бы такие неожиданные, особенно из его уст, излияния не заставили их насто-рожиться. Поэтому он промолчал, выждал, пока остался в каюте один и принялся за свои несложные приготовления.

Первым делом он выпотрошил свои карманы. Одной левой рукой — это было не так просто, но, сам того не сознавая, Вернивечер был рад всякой проволочке. Постепенно он выложил рядом с собой на сидение складной нож с потрескавшимся эбонитовым черенком, давно уже пустой самодельный дюралюминиевый портсигар с надписью: «Давай, матрос, закурим!», краснофлотскую книжку, комсомольский билет, выцветшую, ставшую какой-то пегой, фотокарточку Муси, снявшей-ся в шляпке, которая ей поразительно не шла, два мусиных письма, полученных вскоре после начала войны, незаменимые во фронтовой жизни трут, огниво и кремь, называвшиеся в Севастополе украинским словом «кресало», огрызок чернильного карандаша и довольно толстую пачку денег, скопившуюся у него за последние месяцы. В Севастополе зарплату не на что и некогда было тратить.

На обороте одного из мусиных писем Вернивечер корявыми, расползающимися буквами нацарапал: «Не хочу вам мешать. Бейте гадов до окончательной победы. С. Вернивечер».

Он перечел свою записку, добавил к подписи тире и два слова: «черноморский матрос», снова перечел, остался недоволен, но больше задерживаться не захотел, да и писание левой рукой требовало совсем других нервов. Он положил записку на самом видном месте, скрипя зубами от боли, протиснулся сквозь окно и тяжело шлепнулся в воду.

Сперва Вернивечер почувствовал резкую боль в животе, — он ударился о воду плашмя. Но боль тотчас же прошла, и по его разгоряченному и измученному телу разлилась чудесная, всеуспокаивающая прохлада. Он раскрыл глаза и увидел окружавшую его со всех сторон спокойную и бескрайнюю толщу вод, уходящую под ним в постепенно темнеющую зеленую бездну. В ней то и дело мелькали, блеснув серебром, шустрые стайки озабоченных рыбешек. В нескольких метрах над его головой медленно, чуть покачиваясь, проплыла продолговатая тень лимузина. Потом лимузин прошел в сторону, и сверху хлынул ослепительный солнечный свет, от которого Вернивечер невольно зажмурил глаза. Когда он их снова раскрыл, он увидел, что находится почти у самой поверхности воды, и тут только сообразил, что все время

инстинктивно придерживал дыхание. И, кроме того, он всем своим существом почувствовал, что он не хочет, не может умереть, что он отдал бы все за день, за час, за минуту жизни, за наслаждение глубоко, полной грудью вдохнуть в себя свежий, чудесный, солоноватый морской воздух.

Пожалуй, он ошибся, подумал Вернивечер с тоской. Не с решением, а с его выполнением. Он непростительно поспешил. Он должен был повременить, пока их не прибьет совсем близко к берегу, и уже тогда, тогда обязательно прыгать. Это дало бы ему еще по меньшей мере пять-шесть часов жизни. Шесть часов! Почти вечность! И ведь стоит только несколько раз махнуть здоровой рукой, и его пробкой выбросит на поверхность, и он сможет крикнуть своим товарищам, и его спасут. Они его обязательно спасут. Но как он им все объяснит? Почему он бросился в воду — это они поймут. Но почему он после этого выплыл? Почему запросил помощи? «Сдрейфил! — подумают о нем Аклеев и Кутовой, — струсил Степан Вернивечер, пороку у него не хватало, пофигурял маленько и в кусты!..»

Мысль о позоре, который, как Вернивечер был убежден, обязательно ожидал его при возвращении на лимузин, взяла верх над жаждой жизни. Он нырнул поглубже, страшным усилием разжал крепко стиснутые губы и с силой втянул в себя воду. Она хлынула через нос и широко раскрытый рот тяжелым и удушающим солено-горьким потоком.

Уже почти потерявши сознание, он поймал себя на том, что помимо своего желания все же выгребает наверх и заставил себя заложить руку за спину. Где-то высоко над его головой быстро приближалась большая тень.

«Дельфин», — безразлично подумал Вернивечер и потерял сознание.

За полминуты до этого внимание Аклеева и Кутового, полудремавших, ничего не подозревая, на корме лимузина, привлёк тяжелый всплеск, донесшийся по левому борту. Они лениво глянули в этом направлении, заметили расходящиеся по воде большие круги, но ничего особенного не заподозрили.

— Ну, це кит, — лениво усмехнулся Кутовой, — теперь держись, Никифор, бо он нас сейчас будет глотать... Со всем боезапасом...

Аклеев обрадовался возможности пошутить, собрался развернуть перед Кутовым забавную картину, как они чудно устроятся в чреве китовом и как они превратят этого кита на страх фрицам в мощную боевую единицу, но в это время лимузин качнуло легким порывом ветра, дверцы каюты распахнулись и краснофлотцы увидели, что каюта пуста.

— А где же Вернивечер?! — ахнул Кутовой.

Он вскочил на ноги, но Аклеев опередил его, ворвался в каюту, увидел сложенные аккуратной кучкой вещи Вернивечера, мгновенно вспомнил его горькие слова «комиссии все ясно» и, так и не замстив прощальной записки, сразу догадался, в чем дело.

— Степан утопился!.. — крикнул он Кутовому, поспешно сбросил с себя ботинки и брюки и прыгнул в воду.

Очень много хороших и нужных поступков осталось бы несовершенными, если бы предварительно человек тщательно и всесторонне обдумывал шансы благополучного исхода. И не только потому, что такие размышления и подсчеты привели бы к невозвратимой потере времени, но и просто потому, что при зрелом и всестороннем обсуждении и взвешивании «за» был бы, возможно, всего лишь один шанс из тысячи, а то и того меньше. А между тем сколько замечательных дел было с успехом выполнено именно потому, что люди решались действовать без бухгалтерской подготовки, руководствуясь принципом настоящих воинов, настоящих мужчин: нужно — значит, выполнимо.

В самом деле, каковы были шансы спасти Вернивечера? Прошло уже больше полминуты, за это время лимузин успело ветром отогнать от места падения Вернивечера на добрый десяток метров в сторону. Ищи-свищи человека в просторном и глубоком Черном море! Но Аклеев не подсчитывал шансов на удачу, он бросился в воду так поспешно, что не успел даже набрать воздуха в легкие. Через несколько секунд ему пришлось поэтому вынырнуть, и метрах в пяти от себя под самой поверхностью моря он заметил большое темное тело. Это был Вернивечер, который, как мы уже знаем, инстинктивно выгреб наверх, но тут же заставил себя разжечь рот и, втянув в себя потоки рвотно-соленой тепловатой воды, снова пошел ко дну. Аклееву страшно было подумать, что произошло бы, если бы он, прыгая в воду, предварительно задержался, чтобы набрать полные легкие воздуха. Ему хватило бы тогда воздуха секунд на сорок, а за это время Вернивечер, показавшийся было на мгновение, окончательно ушел бы на дно.

Но эта мысль пришла Аклееву значительно позже, когда они оба уже снова очутились на борту лимузина. А тогда, заметив мелькнувшее на мгновение тело Вернивечера, Аклеев кинулся в этом направлении таким быстрым «кролем», который он не показывал ни разу ни на одном из состязаний по плаванию. Потом он на секунду задержался, чтобы глотнуть воздух, и стремительно ушел в воду почти по вертикали. Где-то глубоко под собой он увидел, как медленно уходило в бутылочно-зеленую бездну тело обеспамятвшего Степана Вернивечера.

Хорошо, что Степан потерял сознание. Иначе он, конечно, стал бы сопротивляться, и Аклееву ни в коем случае не удалось бы с ним совладать. Когда он ухватился за ворот тельняшки Вернивечера, это было уже так глубоко под водой, что казалось совершенно невыполнимым добраться до поверхности с тем ничтожным запасом воздуха, который оставался в его легких. Уже метрах в пяти от поверхности он почувствовал, что больше не может, что легкие у него вот-вот разорвутся. У него стало мутиться сознание, ужасающая вялость стала распространяться по его телу, и что-то темное, дурманящее шептало ему: — Выпусти Вернивечера, выпусти Вернивечера!.. Все равно все пропало!.. Выпусти Вернивечера, выдохни из себя этот проклятый, отравленный, отработанный воздух!.. И полной грудью сделай вдох... Ничего, что ты вдохнешь не воздух, а воду... Лучше вдохнуть воду и погибнуть, нежели не вдохнуть ничего... Все равно все пропадет... Ах, как приятно будет сделать глубокий, глубокий вдох и погибнуть... Все равно все пропало...

И очень может быть, что Аклеев сдался бы этой темной, размагничивающей силе, но в это время совсем близко над своей головой

он увидел расплывающийся ослепительный блик солнца, от теплых лучей которого его теперь отделяла уже только тоненькая пленка зеленоватой воды, и Аклеев удержался, не выдохнул из себя воздуха и не сделал вдоха, и остался жив, жив, жив!

Он вынырнул из самых своих последних сил, увидел на sobой высокий, невыразимо праздничный ярко-голубой небосвод, и лимузин, покачивающийся на синих, блестящих, будто лаком покрытых волнах, и Василия Кутового, ошалевшего от радости, и махавшего руками, и что-то кричавшего.

Аклеев ле сразу понял, о чем ему кричал Кутовой, потому что он дышал. Он дышал глубоко и часто, наслаждаясь простой и ни с чем не сравнимой радостью втягивать в себя вкусный, свежий, чуть соленый воздух и тут же выдыхать его, не заботясь о том, что ему придется вдохнуть через несколько секунд. Воздуха хватит! Воздуха на всю жизнь хватит, чорт возьми! Дыши, сколько влезет!

И он дышал, дышал, дышал, и не слушал, что там кричит на лимузине Василий Кутовой.

А Кутовой суматошно кричал:

— А я ж думал, что Степан потоп!.. И что ты тоже потоп! Что вы оба потопли, бисовы ваши души, морячки мои родненькие, душа с вас вон!.. Плыви до лимузина, Никифор, подгребай!.. Подгребай со Степаном — этим нахалом! Тоже взял себе, бродяга, привычку: чуть что, кидается в море, ровно в какой бассейн в бане!.. Дурной какой чудак, шоб вин сказывся!..

Обычно немногословный и сдержанный, Кутовой был сейчас так болтлив, как только может стать от счастья болтлив человек, который еще несколько секунд тому назад был весь во власти ужасающего сознания, что он остался один-одинешенек на скорлупке, которую несло ветром к берегу, занятому немцами. Это не было трусостью. Кутовой совсем не был трусом. Это не было животной боязнью близкой и неминуемой смерти. Он отлично знал, что и вместе с Аклеевым и Вернивечером он все равно погиб бы, после того как лимузин прибьет к берегу. Это была не трусость, а щемящее ощущение одиночества, потеря того благодатного чувства локтя, которое придает силы и бодрости в самом неравном и безнадежном бою.

— Что ж ты не плывешь до лимузина?— орал он счастливо Аклееву — До лимузина ты чего не плывешь, я тебя спрашиваю?..

Наконец слова Кутового дошли до сознания Аклеева. Только сейчас он не без чувства стыда осознал, что совсем забыл о Вернивечере, которого продолжал крепко держать за ворот тельняшки, что Вернивечер захлебнулся, что жизнь его в серьезной опасности, что его нужно как можно скорее откачивать, пока не поздно. Он тяжело поплыл к лимузину, крепко прижав к себе левой рукой голову Вернивечера, с трудом подал его свесившемуся за борт и чуть не грохнувшемуся в воду Кутовому, сам кое-как вскарабкался на оказавшийся вдруг неожиданно высоким борт лимузина и немедленно принялся вместе с Кутовым откачивать Вернивечера.

Это оказалось значительно труднее, нежели он предполагал.

Потребовалось внести обмякшего и отяжелевшего Вернивечера в жагу, уложить его на сиденье. Внесли и уложили. Но когда уже

уложили, оказалось, что сделали это неправильно. Надо было укладывать не на сиденье, а на палубу, в узком проходе между сиденьями. На сиденьи было неудобно. Осторожно опустили Степана на палубу, и снова оказалось, что уложили его неправильно. Нельзя было класть его на спину, раз рука и плечо у него были ранены. Вместо искусственного дыхания окончательно доканаешь человека. Наконец уложили Вернивечера ничком, и Аклеев, сняв с него мокрую тельняшку с черными кровавыми размоинами, принялся ритмически надавливать на нижнюю часть грудной клетки.

— По способу Шеффера,— объяснил он Кутовому, который на корабле никогда не служил и подаче первой помощи утопающему не обучался.

Аклеев сказал: «по способу Шеффера», а понимать его слова надо было в том смысле, что, дескать, не надо пугаться того, что Вернивечер совсем как мертвый, с остановившимися бессмысленно раскрытыми глазами, совсем холодный, с зеленовато-синей кожей, что не надо унывать, а надо верить в науку, которая, вот видишь, товарищ Кутовой, изобрела специальный способ Шеффера, чтобы возвращать к жизни утопленников. Значит, главное — не унывать.

Он напряг всю свою память, чтобы вспомнить, как его учили действовать по этому способу. Он вспомнил все указания и стал их выполнять уверенно и четко. О, это ведь совсем просто! Нужно только ритмически,— Аклеев очень хорошо помнил, что именно «ритмически» надавливать на нижнюю часть грудной клетки пострадавшего — и дело в шляпе. Когда он все это проделал тогда, на корабле, когда он минуты две, с трудом сдерживаясь, чтоб не рассмеяться, старательно надавливал на нижнюю часть грудной клетки лежавшего ничком здорового трюмного машиниста Васильева, который тоже с трудом удерживался, чтоб не фыркнуть на всю санчасть, начальник санчасти, производивший проверку, заявил, что все в порядке и что краснофлотец Аклеев Никифор отлично овладел приемами искусственного дыхания. И Аклеев Никифор больше года после этого пробыл в твердой уверенности, что искусственно вызвать дыхание — это сущий пустяк, дело двух-трех минут.

И вдруг оказалось, что это совсем не пустяк и, во всяком случае, дело не нескольких минут. Прошло четверть, а потом и полчаса, спина у Аклеева задеревяnela от работы в согнутом положении, а Вернивечер попрежнему лежал мокрый, холодный, неподвижный, бездыханный.

Несколько раз ловил себя Аклеев на мысли, что спасай — не спасай Вернивечера, все равно его уже не спасти. Он встречался глазами с Кутовым и читал в его глазах ту же мысль, и его тогда охватывало холодное бешенство не то на себя, не то на Кутового, не то на скверный характер самого Вернивечера, как будто тот нарочно не оживал, а если захотел бы, то давно бы ожил. У Аклеева разболелись руки, стали ныть мышцы, от усталости движения его потеряли ту мягкость, которая требовалась для этой деликатной работы. Тогда он передал Вернивечера Кутовому, и тот стал действовать, тщательно копируя движения Аклеева, и тоже, наконец, успел устать.

И вот, когда и Аклеев, и Кутовой уже почти решили каждый про себя, что пора прекращать это бесполезное занятие, по спине

Вернивечера пробежала еле заметная судорога. Она была настолько незаметна и еще более неожиданна, что и Аклеев, и Кутовой, опасаясь разочарования, не обмолвились о ней ни единым словом, даже взглядом не обменялись. Но вслед за ней по спине Вернивечера прокатилась другая судорога, настолько явственная, что не оставляла и капли сомнения. В то же мгновение Вернивечер чуть слышно застонал, и из его рта хлынула все усиливающаяся струя совершенно чистой воды.

От волнения и радостного торжества у Аклеева что-то клубком подкатило к горлу. Опасаясь, что на его глазах вот-вот покажется слеза, он отвернулся от Кутового, продолжавшего орудовать над спасенным Вернивечером, и с немалым трудом выдавил из себя те же два слова: «Метод Шеффера!» Он сказал: «Метод Шеффера», а в этот раз хотел сказать: «Вот видишь, брат, Кутовой, вытащили парня прямо из зубов смерти! Остальное будет куда легче. Теперь нам уже ничто не страшно. Надо только верить в свои силы и действовать».

Так его Кутовой и понял. Он подмигнул Аклееву, и милые ямочки снова заиграли на его смугловатом лице, которое несколько не портили чуть заметные оспинки. Продолжая «ритмически» надавливать на много-страдальную спину Вернивечера, он задорно сверкнул зубами:

— Ще той воды нету, в которой потонул бы такой морячок!

Затем Кутовой передал Вернивечера в более опытные руки Аклеева и стал быстро раздеваться. Оставшись в одних трусах, он помог Аклееву уложить Вернивечера на сиденье, снял с него мокрую одежду, передел в свою, сухую, и, радостно поблескивая своими веселыми карими глазами, прошептал:

— Стонет! Сто-о-нет! Ще мы с ним, бог даст, не раз будем немцев бить!..

## V. ВЕТЕР МЕНЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ

Пока спасали Вернивечера, было не до того, чтобы интересоваться чем-либо другим.

Но Аклеев все время помнил о тучах, надвигавшихся с севера. Когда он окончательно убедился, что жизнь Вернивечера находится вне опасности, он вышел на корму.

Теперь уже вся северная часть неба была покрыта темными тучами. Они надвигались на небесную голубизну сплошной завесой. Погода менялась. Тучи несли с собой шторм,— во всяком случае, усиление ветра и, очевидно, изменение его направления. Ветер, по всей видимости, погонит лимузину на юг. Значит, отпадала опасность, что их прибьет к севастопольским берегам.

Уже это одно обстоятельство само по себе было достаточно важным, чтобы поставить в известность о нем Кутового. Но, кроме того, были другие, не менее важные обстоятельства и настолько существенные, что Аклеев решился отозвать Кутового от все еще не пришедшего в сознание Вернивечера.

Он кликнул его в машинную рубку, указал на штурвал, на котором чернели застывшие капли крови, и спросил:

— Ты в этом как, разбираешься?

— Так ведь нет горячего,— удивился Кутовой.

— Ты мне отвечай по существу. Умеешь крутить баранку или не умеешь? Если не умеешь, так и говори.

— Баловался на руднике,— ответил Кутовой.— Только без прав. Товарищи давали покрутить так, для интересу. А прав у меня не было. Без прав крутил.

— Тогда сиди здесь и жди моего сигнала. Будешь держать лимузин против волны. Вся задача.

— Так ведь горючего нет,— с надеждой повторил Кутовой. Он видел, что Аклеев говорит совершенно серьезно.

— Горючего и не будет. Свежий ветер будет. Нас понесет на юг. Понятно это тебе?

— А Степан хотел топиться!— запоздало рассердился Кутовой.— Так бы зря и потоп. Значит, опять на море воюем?

— Опять на море,— усмехнулся Аклеев.— Только ты не шибко радуйся. Ты, верно, еще не знаешь, что такое шторм.

— Морякам шторм — не пугало,— ответил Кутовой, который не хуже Аклеева понимал, что такое шторм, да еще для потерявшего управление лимузина, но не менее ясно представлял себе, что если б их прибило сейчас к берегу, то было бы еще горше.

Аклеев снова усмехнулся. Его немножко покорило, что Кутовой, никогда не плававший на кораблях, именует себя моряком, но он промолчал: «Все-таки человек воевал в морской пехоте, и сейчас держит себя неплохо».

— Ветер может подняться каждую минуту,— промолвил он, усаживая Кутового на сиденье моториста.— Значит, все ясно? Ждать моей команды, и потом все время держать носом против волны. Ударит волна в скулу — перевернет. По морскому называется «оверкиль». Тогда капут. Понятно?

— Понятно,— ответил Кутовой.

— Ну, а я пойду парус ладить,— сказал Аклеев,— и заодно займусь Вернивечером. А твое дело отныне штурвал. Ты пока что проверь, как он там вертится.

Он выбрался из машинной рубки, и почти сразу Кутовой услышал стук топора и скрежет отдираемой фанеры. Работы было не так уж много. Та часть крыши, которую Аклеев предназначал на парус, была уже почти целиком снята, когда ветер часа два тому назад (всего два часа, а казалось, будто бы год назад!) вдруг погнался лимузин к берегу.

От скрежета отдираемой фанеры Вернивечер окончательно пришел в себя. С большим трудом он раскрыл глаза и увидел Аклеева, неловко, но старательно орудовавшего топором.

Вернивечер хорошо помнил, как он выкладывал на сиденье небогатое содержимое своих карманов, как протискивался сквозь окно, чтобы броситься в море, как заставлял себя поскорее захлебнуться, он даже помнил, как к нему стремительно приближалось в воде какое-то большое темное тело, которое он принял за дельфина. И вдруг он, раскрыв глаза, видит себя не на дне морском, а на том же самом сиденье, на котором он лежал, когда Аклеев начал отдирать крышу. А Аклеев попрежнему стоит на противоположном сиденье и попрежнему непра-

ильно (Вернивечер готов был голову отдать на отсечение, что неправильно) действует топором.

Неужели все это на самом деле произошло во сне или в бреду? Вернивечер понимал, что находится в таком состоянии, когда бред — не такая уж редкость.

От этого предположения Вернивечер пришел в отличное состояние духа. Ему захотелось сказать Аклееву что-то очень ласковое и хорошее. Превозмогая боль и чудовищную слабость, он попытался приподняться на локте здоровой руки и увидел свои мокрые брюки из камуфлированной защитной материи и почерневшую от крови тельняшку, вывешенные для просушки на раскрытых дверях каюты. Ботинки его вместе с носками сохли на кормовом трапчике. Все стало ясно Вернивечеру, но он все же дотронулся до своих волос. Волосы были мокрые. Они еще не успели высохнуть.

Тогда Вернивечер в изнеможении откинулся на спину. Ему было невыразимо стыдно, и в то же время (он ни за что не хотел сам себе в этом сознаться) его захлестнуло огромное, ни с чем не сравнимое ощущение счастья: остался все-таки жив! И кто-то, рискуя жизнью, спас его! Он заметил мокрые пряди волос, свисавшие на озабоченно наморщенный лоб Аклеева, и понял, кто его вытащил из морской пучины.

Он ощупал себя и определил, что на нем брюки Кутового и, очевидно, его же тельняшка.

Тогда Вернивечера охватило никогда еще до того не испытанное чувство непередаваемой нежности к своим верным боевым друзьям, и он второй раз за этот день и за все время с тех далеких пор, как он вышел из детского возраста, заплакал. На этот раз у него нехватало сил, чтобы отвернуться от Аклеева и скрыть от него свои слезы. Да, кажется, он этого не очень и хотел...

Но Аклеев все же успел во-время отвернуться, чтобы зря не смущать Вернивечера.

— А ветерок-то вроде меняется,— промолвил он безразличным тоном.— Погонит нас, браток, сейчас на зюйд... И так погонит, что только держись...

Отодрав, наконец, свой тяжелый фанерный «парус», Аклеев перетащил его на корму и покуда что прислонил к задней переборке каюты. Потом он стал шарить под сиденьем, рассчитывая найти там что-нибудь, что пригодилось бы на петли. Хорошо бы кусок сыромятной кожи или на худой конец, дюралюминия. Десятка полтора гвоздей, он обнаружил еще утром, когда доставал оттуда топор, молоток и ведро.

Но ни кожи, ни дюрала не оказалось. Да откуда им было и быть на рейдовом катерке, отлучавшемся от стенки на самое ничтожное время и только в ограниченных пределах гавани, защищенной от ветра и обеспеченной всем необходимым?

Тогда Аклеев не без грусти снял с себя поясной ремень, к которому он так привык за время своей службы и который он собирался носить до самой смерти, снял его, положил на палубу и решительно, как если бы он отрубал себе пальцы, отрезал от ремня четыре широких полосы.

Конечно, он мог обратиться к Кутовому или Вернивечеру, и те бы, ни словом не возразив, отдали свои ремни, но Аклеев считал себя не вправе брать у других, пусть даже для общего дела, то, что у него имеется у самого. Кому не обидно расставаться с ремнем, черным матросским ремнем с бляхой, на которой символом краснофлотской славы поблескивает якорь? Это почти то же, что расставаться с безкозыркой или бушлатом! Нет, Аклеев не был способен на такое злоупотребление властью.

Минут через пять «парус» левым своим краем был навешен на четырех кожаных петлях к левому углу кормовой переборки каюты. Лимузин снова стал управляемым. Зато парус заслонил собою двери и сообщение между кормой и каютой и машинной рубкой прекратилось.

А так как Кутовой не имел права отрываться от штурвала, то все три члена экипажа на все время надвигавшегося шторма были предоставлены каждый самому себе.

За Кутового Аклеев еще не так беспокоился. Он надеялся на его смекалку, на умелые и умные руки мастерового человека. С Вернивечером было невпример сложнее. Тяжело раненный, потерявший много крови, пробывший около часу без признаков жизни, охваченный изнурительным лихорадочным ознобом, невыносимо страдающий от жажды, он должен был остаться совершенно один, без товарищеской помощи, в каюте с наполовину снятой крышей, с выбитыми окнами, через которые будет хлестать свирепая и обильная волна. Но делать было нечего. Могло быть куда хуже, а, главное, никакого другого выбора не представлялось.

Держась за деревянный бортовой леер, Аклеев пробрался по узенькой полоске фальшборта до ветрового стекла машинной рубки, поставил Кутового в известность о создавшейся обстановке, потом через развороченную крышу заглянул в каюту и увидел лежавшего Вернивечера.

— Держись, Степан,— сказал Аклеев.— Покуда шторм, ты останешься один. Держись.

— Есть,— отозвался слабым голосом Вернивечер и даже нашел в себе силы улыбнуться. Он был благодарен своим товарищам не столько даже за спасение, сколько за то, что они ни словом его не попрекнули. Вернивечер имел мужество подумать, как бы он поступил на их месте, и честно признался себе, что не удержался бы от острого и язвительно-го словечка. Но это ему так только казалось бы. Он поступил бы точно так же, как и его друзья. Много лет он был самого лучшего мнения о себе, а теперь стал думать о себе хуже, чем он этого заслуживал.

— Счастливо, Степан!—махнул ему Аклеев рукой на прощание и поспешил к себе на корму.

Минут пять он пробыл без дела. Потом рванул ветер, крепко прижал парус к задней переборке каюты, замер на мгновение и снова рванул, на этот раз с еще большей силой. Зловещие фиолетовые тучи охватили сейчас уже почти весь горизонт. Голубое небо и веселая синяя вода убежали все дальше и дальше на юг, и вскоре все небо и все море стали недоброго свинцового цвета. Ветер, завывая, понес вслед за убегавшей синевой эшелоны волн, набегавших одна на другую и покрытых седыми гривами пены.

Все бедствия, в том числе и стихийные, относительно. Если бы разыгравшаяся в этот день на море непогода была такой, какая нередко на нем случается и летом, а осенью, зимой и ранней весной свирепствует сутками и даже неделями, вздымая гигантские, как бы ртутью налитые тяжелые волны, лимузин погиб бы в первые же несколько минут.

Сила, а вместе с тем и гибельность ветров и непогоды измеряются на море по двенадцатибалльной системе. Но разве волна в четыре балла менее страшна для малого судна, чем десятибалльный шторм для крейсера или линкора?

Наш лимузин попал на волну и под ветер, который для него по его двенадцатибалльной системе, значился бы под цифрой, не меньшей одиннадцати. Ветер гнал его все дальше от берега с быстротой, которая при других условиях могла только радовать. Но лимузин то и дело зарывался носом в воду, его швыряло то вверх, то вниз, и каждый раз он так жалобно поскрипывал, что не только неопытному мореходу Кутовому, но и Аклееву казалось, что лимузин вот-вот расползется по швам или переломится пополам. Но лимузин не расползлся по швам и не переламывался. Неутомимо и даже с какой-то лихостью он нагонял и обгонял одну волну за другой, подскакивая, плюхался вниз на неисчислимых пенистых ухабах, терпеливо и стойко сносил порывистые удары ветра и шел все мористой и мористой. Кутовой и Аклеев вели его без компаса, без карты, без ориентиров, забываясь только о том, как бы не подставить ветру и волне скулу, потому что тогда уже ничто не поможет, потому что тогда уже оверкиль и конец.

Как бы не подставить скулу — эта проблема возникала столько же раз, сколько волн пришлось пересечь лимузину. Кутовой держал против волны вырывавшийся из рук штурвал, а когда, несмотря на все его старания, лимузин все же пытался уйти в сторону, Аклеев ухватывался за правый, свободный край своего тяжелого фанерного паруса, обливаясь потом, отводил его на себя, и лимузин снова шел так, как ему полагалось. Трудность была не столько в сложности маневра и ни на секунду не прекращающемся риске, сколько в ужасающей монотонности работы, которую приходилось проделывать и на штурвале и с парусом. Десятки, сотни, тысячи волн! И за ними катились десятки, сотни и тысячи других волн, и казалось, что нет, и никогда не будет им ни конца, ни края. А ведь каждая из них могла погубить это углое и израненное деревянное суденышко.

Кончился без заката безрадостный и трудный день, быстро надвинулась ночь, а волны все вырастали одна за другой, швыряли лимузин, шлепались о его многострадальные борта, шипели и оставались позади, поблескивая своими фосфоресцирующими пенистыми гребнями, чтобы уступить дорогу новым.

Вдруг застучал по палубе и крыше лимузина теплый дождь. Он шел ровно столько, сколько нужно было для того, чтобы бушлат, фланелька, телник и брюки Аклеева промокли до последней нитки, а потом перестал так же неожиданно, как и начался.

В сплошном покрове быстро мчавшихся туч стали появляться окна темного неба, по которому одинокие звезды летели, как трассирующие снаряды. Окон становилось все больше и больше, постепенно

очистилась от туч северная часть небосвода, порывы ветра становились реже и слабее. Часам к пяти утра ветер настолько затих, что из смертельной угрозы превратился в источник легкой прохлады и неопасной, даже для лимузина, двигательной силы.

Прошло еще два, и наступил полный штиль. Снова безраздельно владычествовало в безупречно чистом небе нежаркое еще утреннее солнце. Снова искрилось под его лучами просторное и бескрайнее синее море, все в легких и мирных, угасающих волнах. Лимузин покачивался на них, как на якоре.

Аклеев отвел в сторону свой фанерный, честно послуживший парус и по щиколотку в воде прошел мимо спавшего на сиденьи Вернивечера в машинную рубку к Кутовому.

Кутовой, не доверяя своим морским познаниям, не решался без приказа Аклеева оставлять штурвал. Он сидел, откинувшись назад, бесконечно усталый от непрерывной и непривычной борьбы с разбушевавшимся морем. Его смугловатое лицо стало каким-то острым, глаза ввалились. Завидев Аклеева, он устало улыбнулся:

— Живой, значит?

— Мокрый, но живой! — весело отозвался Аклеев. — А ты, браток, ну ей же богу, молодец! Как по пятому году службы! Честное пионерское!..

И так как, произнося эти слова, Аклеев окинул взором тесное помещение рубки, то Кутовой почему-то понял их не как одобрение его работы во время минувшего шторма, а как высокую оценку его морских качеств.

— А ты думал что? — удовлетворенно промолвил он, и на его щеках снова заиграли хитрые ямочки. — Ты думал, если я на кораблях не плавал, так я травить буду?

Кутовой не знал, что при абсолютно пустом желудке морская болезнь никаких внешних проявлений давать не могла. Но он был так простодушно горд небогатым своим достижением, что Аклеев не стал его разубеждать.

— Из тебя рулевой получится первостатейный, — сказал он. — В тебе, верно, душа морская.

Большой похвалы нельзя было получить от Аклеева, и Кутовой вполне оценил значение его слов.

В это время из каюты донесся легкий стон, и Степан Вернивечер внятно произнес одно-единственное слово:

— Пить!..

Как ни трудно пришлось во время шторма Аклееву и Кутовому, им все же было легче, нежели Вернивечеру. И не столько потому, что он был ранен, страшно ослабел от потери крови, сколько потому, что очень трудно деятельному, живому человеку быть в такой грозной обстановке без работы. Что ему оставалось делать? Он лежал и думал. Он все за это время передумал.

Вернивечер всегда был убежден: все его поступки самые правильные. И вдруг он понял, что ошибался. Он со стыдом вспомнил, как там, на холме, предлагал кидаться без оружия на рожон, на вер-

ную смерть; как отказывался пойти разведать берег; как без приказа Аклеева повел лимузин навстречу торпедному катеру. Хорошо еще, что не погибли. Могли погибнуть. Может быть, если бы оставались на месте, не был бы пробит бензобак.

Вынеся себе мысленно приговор куда более суровый, чем могли бы вынести ему самые строгие, но беспристрастные судьи, Вернивечер, чтобы отвлечься от грустных мыслей, стал мечтать о том, как он будет входить в Берлин. Было бы особенно приятно, если бы Берлин был к этому времени так же разрушен, как Севастополь. И вот туда под гром оркестров и пушечных салютов вступают наши войска: пехота, артиллерия, танки, кавалерия, саперы. В воздухе барражируют тысячи наших самолетов. И где-нибудь на самом почетном месте шагает сборная бригада морской пехоты. В черных бушлатах в бескозырках, с пулеметными лентами через плечо и с развевающимися ленточками бескозырок. Они идут, печатая шаг, с суровыми лицами, не глядя на берлинских обывателей. А перепуганные берлинцы толпятся на тротуарах и смотрят на советских моряков. Вот они и пришли к ним в самый Берлин, эти «черные комиссары», «черная туча»...

А рядом с ним, с Вернивечером, в одной шеренге шагают Никифор Аклеев и Василий Кутовой. Вместе они отступали, вместе будут они и наступать до окончательной победы. И вдруг их троих вызывают и приказывают: арестовать и доставить сюда Адольфа Гитлера. Они идут, разыскивают его. Они стучатся в запертые двери, и Гитлер спрашивает: «Кто там?» А Степан Вернивечер отвечает: «Советские моряки пришли за тобой, фашистская гадина! Пришел твой последний час! Отворяй дверь! Кончилось твое кровавое царство!»

Потом Вернивечер долго думал о Мусе, о том, как они еще во время войны обязательно где-нибудь встретятся, а после войны поженятся, и как к ним будет приходиться на квартиру в гости Никифор Аклеев и Василий Кутовой. Кутовой с женой и сыном, а Никифора надо будет познакомить с какой-нибудь хорошенькой мусиной знакомой, потому что боевая их дружба не должна прекращаться до самой смерти, которая еще очень, очень далека.

Вернивечер отдавал себе отчет, что ранение задержит его на месяц, а то и больше в госпитале. Ну, что ж, если уж никак нельзя будет без этого обойтись, он займется в госпитале изобретением снайперского пулемета. Разыщет в госпитале какого-нибудь раненого инженера и с ним «на пару» и изобретет...

А лимузин в это время, зарываясь носом во вспененную воду, мчался на юг, подскакивая на волнах. Вернивечера томила жажда, удесятеренная большой потерей крови. Он был очень слаб, его все время знобило. Здоровой рукой он цеплялся за обшивку, чтобы качка не швырнула его на палубу, уставал, засыпал на короткое время и снова просыпался. Несколько раз его, спящего, сбрасывали на палубу. Тогда он просыпался от невыносимой боли в раненой руке, с трудом вскарабкивался на сиденье и снова как бы проваливался в какую-то черную бездонную яму. Это нельзя было назвать сном. Скорее это было беспамятство. В беспамятстве у него и вырвалось из уст слово «пить», которое он иш за что не позволил бы себе произнести, находишь он в сознании. Он знает, что воды достать негде.

## VI. КОРАБЛЬ НАХОДИТСЯ В ПЛАВАНИИ

Воду все-таки достали.

Было почти безумием оставлять парус во время шторма. Но еще большим безумием было не попытаться набрать воды, когда пошел дождь. А ведро валялось в каюте. Вход в нее наглухо заслонял парус. Отводить парус от двери? Обеспечен верный оверкиль. Аклеев бросился на фальшборт по узенькому его ребру, крепко цепляясь за бортовой леер, добрался до первого разбитого окошка каюты, протиснулся в него и, схватив громыхавшее ведро, которое злая килевая качка швыряла из угла в угол, полез было обратно в окно. Но тут он вспомнил о Кутовой и вернулся в каюту. Хватаясь за переборки, он не столько подошел, сколько упал на дверь машинной рубки, открыл ее и крикнул:

— Высунь бушлат наружу!

— Так промокнет же! — не догадался в чем дело Кутовой. —  
Дождь идет.

— Вот именно промокнет, сухопутная твоя душа! — рассердился Аклеев. — Промокнет, и будет чего пить!..

Сказал, не дожидаясь ответа, полез в окно и выскочил на корму как раз тогда, когда ветер точно нехотя стал отводить парус от кормовой переборки.

Это Кутовой, скинув с себя бушлат, высунул его за боковую раму ветрового стекла, и на штурвале осталась только одна его рука.

Не выпуская ведерка, Аклеев всей тяжестью своего тела налег на парус и дождался, пока Кутовой снова выровнял ход лимузина.

Теперь Аклеев проклинал себя за то, что не догадался захватить с собой из каюты топорик и хотя бы парочку гвоздей. Тогда можно было бы вколотить гвоздь в переборку, навесить на него ведро, и вода тихо, спокойно стекала бы в ведро с крыши. Но нечего было и думать о том, чтобы возвращаться в каюту.

Пришлось Аклееву, чуть не плача от досады, встать одной ногой на скользкую корму, другой — на ребро фальшборта и, рискуя каждую секунду свалиться за борт, держать ведро у края крыши в вытянутой руке.

Свистел ветер, волны то гремели, то шипели, неугомонно и сердито, как сырые дрова в печи. Все кругом было полно недобрыми шумами шторма. Но Аклеев не слышал ничего, кроме тоненького пения струек воды — пресной воды! — стекавших с крыши в ведро. Был бы на крыше жолоб, дождя этого вполне хватило бы, чтобы заполнить ведро до краев. Но на крыше лимузина желобов не полагается, и вода скатывалась поэтому с нее сплошной реденькой пеленой. В этом была какая-то чудовищная и никак не поправимая несправедливость. Три человека умирали от жажды, а пресная вода, чудесная питьевая сладкая вода, десятками, сотнями литров падала на крышу, чтобы через несколько секунд скатиться с нее в море и бесследно в нем раствориться.

Подумать только, как мало воды собралось в ведрке: немногим больше бутылки.

Аклеев осторожно перелил ее в фляжку, не пригубив ни капли. Эта вода предназначалась для Вернивечера.

Себе Аклеев позволил только чуточку пососать мокрый рукав своего бушлата. Это было такое счастье, которое может по-настоящему оценить только человек, промучившийся без воды хотя бы двое суток.

Очень нелегко было Аклееву заставить себя оторваться от рукава. Это оказалось куда труднее, чем оторваться от земли перед броском в атаку. Но Аклеев превозмог себя.

Как только ветер ослабел и стало возможно без особого риска для лимузина оставлять на минуту-другую коварный парус, Аклеев снял с себя одежду и выжал ее над ведерком. Получилось воды больше, нежели ему удалось собрать с крыши: около полутора бутылок. Вместе с той, которую он потом добыл из бушлата Кутового, собралось около двух бутылок мутноватой, но вполне пригодной питьевой воды.

Теперь можно было дать напиться Вернивечеру и самим прихлебнуть примерно по осмьюшке стакана: неизвестно было, сколько еще придется пробыть в море, и воду решили экономить самым жесточайшим образом. Затем, и ведро и фляжку спрятали подальше в рундучок под сиденьем, чтобы ни одна капля драгоценной влаги не испарилась под жаркими лучами июльского солнца.

Пить все равно хотелось не меньше прежнего. Аклеев поэтому случаю вспомнил директора типографии, в которой он работал на «гражданке». Директор страдал пороком сердца и жаловался, что врачи запрещают ему потреблять в сутки больше пяти стаканов жидкостей. Пять стаканов! Попробовал бы он побыть денек-другой в нашей шкуре.

К вечеру и волн не стало. Лимузин застыл на месте. Во все стороны, насколько хватал глаз, расстигалось море без конца и краю. Дельфины весело и беззаботно плескались на нежно-розовом закатном солнце. Возможно, это были те самые дельфины, которых бомбы и снаряды заставили уйти как можно дальше в море, и вот они сейчас радуются вновь обретенному покою. А возможно, что эти дельфины ни разу и не бывали у черноморских берегов, что они все время боев находились здесь, в глубоком дельфиньем тылу. Но ясно было одно: они чувствовали себя здесь в полнейшей безопасности, и это было неопровержимым свидетельством того, что лимузин занесло достаточно далеко от морских и воздушных путей. Теперь надежда оставалась только на ветер или на счастливый случай.

Что касается ветра, то шансов на то, чтобы он задул в ближайшие дни, было очень мало. Но еще меньше было оснований рассчитывать на случайную встречу в этих отдаленных местах с каким-нибудь нашим кораблем. Словом, было от чего впасть в отчаяние даже менее усталым и измученным людям, нежели те, кто составлял экипаж крохотного дырявого суденышка.

Теперь, в долгие часы вынужденного бездействия, с удесятеренной силой стали давать себя чувствовать голод и усталость и особенно жажда, которую нищенские порции воды, казалось, даже усиливали.

Чудовищная вялость расслабляла мышцы и волю, клонила ко сну, к бездействию, к апатии. Стоило только поддаться ей, и исчезала последняя надежда на спасение. С нею нужно было бороться немедленно и самыми решительными мерами.

Бывает у людей такое состояние, когда их охватывает безразличие и равнодушие ко всему, что совсем недавно еще их волновало, ко всему, что они любили, ко всему, что было им дорого и о чем они мечтали в перерывах между боями. Ни воспоминания о родном доме, ни о любимых не в состоянии в таких случаях вывести из оцепенения. Но и в такие тяжелые минуты человек стряхивает с себя апатию, стоит ему только вспомнить о воинском долге. Пока человек чувствует себя солдатом, он деятелен, он выполняет то, что ему полагается делать, и это придает ему новые силы для преодоления самых трудных и, казалось бы, самых непреодолимых препятствий.

Солнце уже касалось нижним своим краем горизонта, когда к безмолвно лежавшему Вернивечеру подошел Аклеев.

— Пить хочешь? — шопотом осведомился он.

Конечно, Вернивечеру совершенно нестерпимо хотелось пить, но вместо прямого ответа он прошептал:

— А вы сами? Почему вы сами с Кутовым не пьете?

— А с чего ты взял, что мы не пьем? Мы уже пили.

Аклеев дал ему хлебнуть воды и снова зашептал:

— Ты как, в случае чего, сесть можешь?

— Смогу... если потребуется, — ответил несколько удивленный Вернивечер.

— Тогда надевай бескозырку, потому что сейчас будет спуск флага, — сказал Аклеев и испытующе глянул на Вернивечера. Вернивечер отнесся к его словам с подобающей серьезностью, и обрадованный Аклеев поспешил на корму. Вскоре оттуда донесся его осипший голос: — На флаг, смирно!

Вернивечер, скрипя зубами, приподнялся, сел и застыл, повернув голову в ту сторону, где сквозь раскрытые двери каюты виднелся на оранжевой стене заката простенький полотняный флаг, белый с голубой полосой, красной звездочкой и серпом и молотом.

Приняли на корме по команде стойку «смирно» Аклеев и Кутовой.

В эту минуту на всех кораблях Черноморского флота, на линкоре и на катерах, на подлодках и мотоботах, на крейсерах и тральщиках, на эсминцах и сторожевиках происходила торжественная церемония спуска флага. В теплых кавказских сумерках звенели голоса вахтенных командиров, краснофлотцы — старшины и командиры — замирали на том месте, где их заставала команда. Горнисты стояли на юте, готовые заиграть веселую «зорию», лишь только прозвучат слова: «Флаг, гюйс спустить!». Они будут играть, пока флаги и гюйсы, ласково треплемые легким вечерним бризом, будут медленно скользить вниз по фалам чтобы быть снова поднятыми утром следующего дня. Есть в этой ежедневно повторяемой церемонии, старой, как флот, что-то всегда волнующее, бодрящее, гордое, наполняющее сердце военного моряка чудесным ощущением величия и силы грозного и нерушимого морского братства, умного и сложного единства флота.

Здесь, на крохотном изувеченном лимузине, затерянном в пустынных

просторах Черного моря, люди в эту минуту с особенной остротой почувствовали, что и они со своей посудинкой являются такой же, пусть очень незначительной, частицей Военно-морского флота, как и все остальные черноморские корабли.

Так прошло несколько мгновений, а потом Аклеев скомандовал: «Флаг спустить!» — и приложил руку к своей лихо надетой набекрень бескозырке.

Приложили ладони к своим бескозыркам и Кутовой и Вернивечер. Это была бесспорная вольность против устава: краснофлотцы при спуске и подъеме флага руку к бескозырке не прикладывают. Но Аклеев был на положении командира корабля, Кутовой попросту не знал этих уставных правил, а Вернивечер, хотя и знал, но он сидел, а не стоял, как полагалось по уставу, и ему хотелось чем-то восполнить это невольное упущение.

Аклеев молча повел глазами на флаг, Кутовой смущенно заторопился, опустил руку от бескозырки и вытащил флажок из его гнезда.

— Вольно! — скомандовал Аклеев, и Вернивечер, у которого от слабости сильно кружилась голова, снова с наслаждением вытянулся на сиденьи.

Закончился третий день похода.

Со следующего утра Аклеев с Кутовым стали попеременно нести боевую вахту.

«Максим» был вытасчен на корму. Его зарядили, и вахтенный должен был непрестанно следить за воздухом и водой. Как только в пределах видимости появится советский корабль или самолет, вахтенному надлежало выпускать одну очередь за другой, пока не убедится, что его сигналы замечены.

Что и говорить, надежда на появление помощи была очень и очень слабой. Но надежды на ветер были еще меньше. А главное, и это Аклеев и Кутовой отлично понимали, что на вахте человек чувствует себя занятым нужной, предусмотренной уставом работой, и это придает бодрости.

Вахта сменялась другой, а корабли и самолеты не появлялись. Даже вражеские. В такую загнало лимузли морскую глухомань. Но корабль находится в плавании, это был военный корабль, и вахтенную службу на нем, насколько это было возможно, несли с той же тщательностью, как и на линкоре. Утром подъем флага, вечером Кутовой по команде Аклеева флаг спускал.

Первые два дня после шторма Вернивечер еще находил в себе силы, чтобы приподняться и усесться во время этих торжественных церемоний, потом силы окончательно покинули его. Теперь он все время лежал, все чаще и чаще впадая в забытье. Его томила жажда (полстакана воды, которые он получал в день, конечно, не могли ее утолить), мучили голод и воспаленные раны и почти беспрерывно трепал сильнейший озноб. Он был покрыт своим бушлатом и бушлатами обоих своих друзей (на Черном море! В июле месяце!), и все же его лихорадило и он стучал зубами, как на сорокаградусном морозе. А товарищи его упорно несли вахту.

Пока один стоял на вахте, другой спал, чтобы зря не терять силы. Потом решили нести вахту сидя.

Потянулись бесконечно долгие часы, не заполненные ничем, кроме вахты. Голод и жажда не давали себя забывать ни на минуту. Аклеев как-то вспомнил, что в приключенческих романах пострадавшие от кораблекрушения питались мелко нарезанной кожей. Тайком, когда Кутовой заснул, он попробовал кусочек своего ремня, долго жевал солоноватую твердую кожу, даже заставил себя проглотить ее, но желудок не принял этого эрзаца и вернул его обратно. В приключенческих романах, очевидно, знали какой-то секрет, не известный Аклееву.

В другой раз осмелевшие дельфины стали играть так близко от лимузина, что Аклеев не выдержал и выпустил по одному из них длинную очередь. Несколько пуль попали в дельфина, фонтанчики крови брызнули из него, покрыв воду буроватой пленкой, но сам он камнем пошел ко дну.

От звуков выстрелов проснулся Кутовой, даже Вернивечер сделал попытку приподнять голову.

— Корабль?— воскликнул с надеждой Кутовой.— Неужто корабль?..

— На дельфина охотился,— смущенно отозвался Аклеев, и такое разочарование прочел он при этих словах на лицах своих товарищей, что подумал даже, не зря ли он занялся охотой.

— Ушел?— больше из деликатности, нежели из любопытства спросил Кутовой.

— Ушел,— ответил Аклеев.— Раненый ушел под воду.

— Ему, верно, в голову надо стрелять,— утрюмо высказал свои соображения Кутовой.— Ты ему в голову стрелял?

— Старался в голову.

— Тогда правильно... Только как его потом вытаскивать, убитого?

— Сперва убить надо,— неуверенно сказал Аклеев,— а потом уже вытаскивать...

— Мда-а-а,— протянул Кутовой.— Конечно... Был бы хоть багор... Вплавь у нас с тобою уже сейчас не получится...

Но вся эта вялая дискуссия оказалась ни к чему. Дельфины, напуганные пулеметной стрельбой, перестали появляться вблизи лимузина.

Единственное, что Аклеев мог реально предпринять по продовольственной части, это запретить Кутовому заводить на эту тему разговоры. Вернивечер и без того все время молчал. Но запретить думать о пище и воде было не во власти Аклеева, и видеть их во сне тоже нельзя было запретить. К сожалению, с этим фактом приходилось считаться.

Казалось, уже на все темы было переговорено: и о недавних и в то же время таких далеких годах «гражданки»; и о том, какие у Аклеева на «Быстром» были дружки; и как он под Меккензиевыми горами двадцать часов один-одинешенек отбивался от полутора десятков фрицев. Кутовой вспоминал, как он на шахте ставил первые свои рекорды, как во флотском экипаже скандалил с писарем мобчасти, чтоб его не мариновали впрок, а поскорее отправляли на фронт, а его все не отправляли, потому что кто-то решил, что лучше его послать бурить скалы и строить какое-то убежище. Но он доказал, что он не

бурильщик, а врубовщик, и тогда его все-таки послали на фронт, и он дошел туда со своим батальоном на экипаже пешочком часика за полтора. Потом выяснилось, что под Сапун-горой их батальоны дрались рядом. Тогда они стали вспоминать своих командиров, и оказалось, что большинство из них погибло. Аклеев вспомнил,—в их батальоне за один день сменилось четыре комиссара: они шли впереди своих наступающих бойцов, которых они поднимали в атаки, и падали смертью храбрых еще до того, как штаб успевал оформить их назначение.

С каждым часом все ощутительнее и беспощаднее давали о себе знать голод и жажда. Не хотелось двигаться, думать о чем-либо, кроме еды и питья. Все реже стали завязываться разговоры, и становились они с каждым разом все короче, отрывистей и бессвязней, даже если речь шла о семье, о близких. Только одна тема продолжала еще их волновать. Этой темой была грядущая победа. Июль сорок второго года! Четыре с половиной долгих и горячих месяца отделяли эти горькие и трудные дни от блистательного исхода сталинградской битвы, которая тогда еще не начиналась.

Как-то вечером,—это был четвертый день пребывания на лимузине,—Кутовой, задумчиво глядя на причудливую и величественную панораму озаренных закатом облаков, промолвил:

— Тоска на этот закат смотреть. Вроде Севастополь горит...

На это ему Аклеев не сразу ответил:

— А ты хорошенько присмотришься, и ты увидишь, что это совсем горит немецкий город.

— Эх,—воскликнул тогда Кутовой,—один бы только часок пострелять в Германии, а потом и помирать можно!..

— Только тогда и жить-то можно будет по-настоящему начинать,—сказал в ответ Аклеев, и оба друга замолчали, углубившись в свои думы.

Быстро догорел закат, темносиняя ночь опустилась на море, и Кутовой прервал долгое молчание, поведав Аклееву мысль, которая им владела, видно, не первый день.

— Жалко,—осторожно начал он,—никто не узнает, что мы потопили тот торпедный катер...

— Сами доложим,—усмехнулся Аклеев.

— Это если мы доберемся до своих. А если не выйдет у нас ничего?—Кутовой не хотел произносить слова «если мы погибнем».

Не надо думать, что Кутовой думал о пышной, всенародной славе. Ему просто было обидно, что его Костя так и не узнает об этом славном деле.

— Не мы первые, не мы последние,—ответил Кутовому Аклеев.— Важно, что мы его потопили.— Он помолчал и добавил:— Помнишь, у Приморского бульвара стоит в воде памятник?

— Погибшим кораблям?

— Вот именно, погибшим кораблям. А ты название этих кораблей помнишь?

— Не помню,—ответил Кутовой и тут же честно поправился,— и даже никогда не знал...

— И я не помню,—в свою очередь сознался Аклеев.— А каждый раз, бывало, как гляну на этот памятник, так даже сердце холодело от волиения. И вот я думаю: кончится война, и поставят в Севастополе

другой памятник, и на нем будет золотыми буквами написано: «Погибшим черноморцам». И если нам с тобой и Вернивечером судьба погибнуть, так будет, я думаю, в этом памятнике и наша с тобой и Вернивечером слава. И когда будет уничтожен последний фашист, то в этом опять-таки будет и наша слава. А другой мне не надо. Я не гордый.

— Ну, и я не гордый,— примирительно сказал Кутовой.

— А все-таки здорово мы этот катер угрбили! — донесся из каюты слабый голос Вернивечера.— Аж теперь приятно вспомнить

Он слышал весь разговор Аклеева с Кутовым, хотел было поначалу сказать, что и он не гордый, но не сказал, потому что не хотел врать. Слова Аклеева его только частично утешили, но не переубедили. Вернивечер страстно мечтал, чтобы о бое с торпедным катером узнал один человек, в котором он был очень заинтересован. Этим человеком была Муся.

Уже третий день вахту несли сидя. Истощенных краснофлотцев покидали последние силы.

Кутовой по этому поводу даже попытался сострить. Он сказал:

— Раньше мы вахту стояли, теперь мы вахту сидим, а завтра, верю, лежать ее будем.

— А что?— отозвался Аклеев.— В крайнем случае можно и лежа. Главное, чтобы внимательно.

— Ну, пока мы еще вполне можем сидеть,— добавил Кутовой, бодрясь, но Аклеев его уже не слышал. Он спал.

Этот краткий и не очень обнадеживающий разговор произошел часов в семь вечера. А в половине девятого Кутовой услышал отдаленный грохот орудий и еле различимый стрекот пулеметов.

Сначала Кутовой решил, что это ему мерещится. За последние несколько суток ему уже не раз чудились выстрелы, звуки сирены, даже отдаленный звон рынды, на которой отбивают склянки. И каждый раз он убеждался, что это только плод его воображения.

Но грохот становился все громче и ближе, и когда, наконец, Кутовой убедился, что слух его не обманывает и что нужно поскорее будить Аклеева, тот сам проснулся.

— Стреляют!— взволнованно прошептал он.— Слышишь?

— Ага,— ответил, дрожа всем телом, Кутовой.— Сражение..

Они впились глазами в западную часть горизонта, откуда долетал нарастающий гул боя. Гром орудий и треск частей пулеметных очередей перемежались редким уханьем тяжелых разрывов.

— Бомбы,— объяснял каждый раз Аклеев, хотя Кутовой совершенно не нуждался в объяснениях.— Наш корабль бомбят.

— Неужто потопят?— сказал Кутовой.

— Не должны. Не потопят!.. Опять бомба!.. Чтoб этих фрицев!..

Минут через двадцать стрельба прекратилась, и на огненной стене заката, почти над самой полоской горизонта, показались и сразу растаяли, скрывшись в северном направлении, три еле заметных точки.

— Улетели, гады!— сказал Аклеев.

— Неужто потопили?— взволнованно спросил Кутовой.

— Был бы взрыв.. — сказал Аклеев.

Но взрыва ни он, ни Кутовой не слышали. Они продолжали смотреть в ту сторону, где только что закончился бой, и на охваченном за-

катным заревом небосклоне вскоре заметили черный, точно залитый тушью, точеный силуэтик военного корабля.

— Тральщик! — возбужденно воскликнул Аклеев. — Ей-богу, тральщик! БТЩ!..

Он плюхнулся на палубу и стал бить вверх из своего «максима». Кутовой присоединился к нему со своим ручным пулеметом. В четыре приема кончилась лента «максима», несколько раз сменил диск Кутовой, палубу завалило сотнями стрелянных гильз. Не могло быть, чтобы в наступившей после недавнего боя вечерней тишине на корабле не услышали эту яростную пулеметную стрельбу. И все же, сколько ни прислушивались потом наши друзья, они не услышали ничего, что могло быть похожим на ответные выстрелы, на какой бы то ни было признак того, что на тральщике обратили внимание на сигналы терпящего бедствие лимузина.

И Аклеев и Кутовой понимали, что этот тральщик — их последний шанс на спасение, что и он-то появился здесь случайно, и нечего ожидать, чтобы в этом отдаленном секторе моря в ближайшие дни появился другой корабль. А если даже, паче чаяния, и появится, то все равно будет уже поздно: они чувствовали, что силы у них на исходе и вряд ли они смогут еще долго нести вахту, даже лежа. Оба понимали, что это конец, но ни тот, ни другой не хотели и не могли вслух высказать этот тягостный вывод.

Догорел закат, черным пологом закрыла его густая ночная мгла, и в ней потонул, словно растворился силуэт тральщика.

Стрельба вывела из забытья давно уже лежавшего пластом Верни-вечера. Он не мог не понять, что означает лихорадочная стрельба, поднятая его друзьями, ему хотелось узнать, но не очень, что послужило поводом к ней. Сам он уже не имел сил подняться с сиденья, выйти на корму и выяснить обстановку, а расспрашивать не стал. Если будет что-нибудь хорошее, ему сообщат. А плохого и без того хватало.

Он услышал, как в каюту прошёл Аклеев, приблизился к нему, постоял в нерешительности несколько мгновений и вернулся обратно на корму. Вернивечер сделал вид, что спит, даже легонько захрапел, и он услышал, как Аклеев с видимым облегчением сообщил Кутовому:

— Спит.

— Ну, что ж, — промолвил Аклеев после наступившего затем долгого и тягостного молчания. — Надо приниматься за ленту. А ты зарядь диски..

«Силён!» — подумал о нем Кутовой, — а вслух ответил: — Сейчас зарядим. Это нам дело привычное.

— Вахту заступаю я, — сказал Аклеев, когда Кутовой набил свои диски.

Кутовой заснул не сразу, и Аклеев не будил его до самого рассвета.

## VII. КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ СУХОВЕЙ ИГРАЕТ «ЗАХОЖДЕНИЕ»

Быстроходный тральщик «Параван» возвращался с выполнения боевого задания. Было уже далеко за полдень, когда высоко над «Параваном» еле слышно прогудел одинокий немецкий самолет. На корабле

приготовились к отражению воздушной атаки, но самолет и не думал нападать. Покружившись минут десять для того, очевидно, чтобы выяснить курс, которым идет тральщик, самолет, так ничего и не предприняв, улетел на север. Это был разведчик. Примерно через час надо было ожидать бомбардировщиков.

Командир корабля капитан-лейтенант Суховой принял решение: уйти южнее, значительно западней того курса, которым он до этого следовал. Правая машина вышла у него из строя еще накануне, когда он выдержал двухчасовой бой с пятнадцатью пикировщиками. Немцы ушли тогда, израсходовав весь боезапас и оставив в синих черноморских водах два своих самолета.

С одной левой машиной капитан-лейтенант Суховой не хотел вступать в новый бой и приказал поэтому переложить руль круто направо. Но немцы, предусмотрев возможность такого решения советского командира, выслали ему вдогонку два звена пикировщиков. Одно из них должно было искать тральщик восточнее курса, которым он шел в момент обнаружения, второе — западнее.

Ровно через час одиннадцать минут, после того как скрылся разведчик, загрели пушки и пулеметы «Паравана» и засвистела первая фашистская бомба.

На этот раз немцы торопились: пока они разыскивали тральщик, наступило уже время заката. Встреченные огнем всех пушек и пулеметов «Паравана», они благоразумно решили не особенно задерживаться; не очень низко пикируя, сбросили в несколько приемов свои бомбы, раза по три каждый из них обстрелял напоследок корабль из пушек и пулеметов, и улетели докладывать о выполнении задания.

Важно было не то, что доложили немецкие летчики по поводу нашего тральщика, а то, что одной из их бомб вывело на нем из строя электрическое рулевое управление. Румпельное отделение с перебитым штурвалом затопило еще накануне. Можно, конечно, на худой конец, обойтись на время и без руля, управляясь винтами, но, как мы уже сообщали, правая машина была серьезно повреждена и бездействовала.

Все силы были брошены на введение в строй рулевого управления. В нормальных условиях этой работы хватало бы не на один день, но здесь, в открытом море, такими сроками располагать не приходилось, и командир пятой боевой части обещал управиться с ремонтом до рассвета, в несколько часов короткой, как воробьиный нос, июльской пучи. Нет поэтому ничего удивительного, что когда с мостика доложили, что издалека доносятся длинные пулеметные очереди, командир «Паравана», у которого по горло хватало хлопот, не обратил на это сообщение должного внимания. Он, правда, выбрался на минутку наверх, прислушался, даже попытался взглянуть в густую ночную темноту, окутавшую тральщик, но ничего не услышал и ничего не заметил. Ночь была безмолвна, как может только быть безмолвна далекая морская глухомань да еще в штилевую погоду.

— Верно, немцы напоследок баловались — высказал свое предположение Суховой и снова спустился туда, где бойцы и командиры пятой боевой части решали судьбу корабля.

Мысль о том, что стрелять могли с нашего судна, пришла командиру «Паравана» в голову значительно позже, когда благоприятный

ход ремонта позволил Суховаю заняться и другими вопросами. Он глянул на светящийся циферблат своих часов, с огорчением убедился, что до рассвета осталось не так уж много времени, посетовал на короткие летние ночи и распорядился усилить наблюдение, как только начнет светать.

В нескольких милях от командира «Паравана» командир другого судна, краснофлотец Никифор Аклеев, наоборот, с нетерпением ждал конца затянувшейся, по его мнению, темноты. Трудно описать, что он передумал за эту бессонную ночь. Но одна мысль ни на секунду не оставляла его: не упустить тральщик, если только, конечно, он не ушел, что было наиболее вероятно.

Аклеев далеко не был убежден, что ему суждено когда-нибудь в жизни увидеть этот тральщик и вообще какое бы то ни было судно. Скорее он был уверен в обратном. Но какая-то, хоть и весьма незначительная, теплилась у него надежда, что на корабле услышали сигналы лимузина, но отложили поиски до утра. В самом деле, не искать же в потемках.

Забрезжил рассвет. Теперь уже не тральщик, а лимузин оказался на фоне освещенной части небосклона, и в дальномер его обнаружили задолго до того, как солнечные лучи позолотили стремительные и изящные обводы корабля.

— Справа по носу, курс сто тридцать пять градусов, рейдовый лимузин! — удивленно доложил дальномерщик уже давно находившемуся на мостике командиру «Паравана».

— Лимузин?! — поразился в свою очередь капитан-лейтенант Суховай. — Что-то очень далеко он забрался для лимузина! Проверить.

— Нет, верно, лимузин, товарищ капитан-лейтенант! — снова заявил, все больше удивляясь, дальномерщик и оторвался на секунду от дальномера. — И на нем наш флаг, и два человека на корме!.. Верно, они вчера и стреляли...

Суховай перевел рукоятку машинного телеграфа на «Самый малый вперед» и сказал рулевому:

— Слева по носу видишь пятнышко? Прямо на него!

Настороженно, дыша одной левой машиной, тральщик медленно двинулся туда, где чернел крошечный силуэт лимузина. Легкий дымок взвился из трубы тральщика, и его-то и заметили первым делом оба бодрствовавших вахтенных неподвижного суденышка.

— Огонь! — не своим голосом закричал Аклеев и стал бить в воздух из «максима» длиннейшими очередями. Кутовой пристроился рядом с ним и в четыре приема израсходовал два диска.

— Стреляют, товарищ капитан-лейтенант!... Из двух пулеметов! Прямо в небеса стреляют! — возбужденно доложил дальномерщик Суховаю. И действительно через несколько мгновений до тральщика долетел дробный треск пулеметных очередей.

— «Ясно вижу» до места! — скомандовал Суховай, и под нежными лучами утреннего солнца взвился и застыл на самом веру фал кокарен красный вымпел с белым кругом по середине — подтверждение лимузину, что его сигнал полностью расшифрован и принят к сведению.

Аклеев выпустил в воздух еще одну ленту, а Кутовой успел перезарядить диски, пока они окончательно не убедились, что тральщик идет на сближение с ними.

Это было совершенно реально и все же настолько походило на сон, что они сперва не решались сообщать Вернивечеру. Но тральщик подошел все ближе, уже можно было различить военно-морской флаг на его корме и алый выпел с белым кругом, весело развевавшийся над его мостиком.

— «Ясно вижу!» — сдавленным голосом воскликнул Аклеев, схватил руку Кутового и стал с силой ее жать. Вернее, это ему только казалось, что он ее сжимает с силой. А на самом деле любой десятилетний мальчик сжал бы ее куда сильнее.

— И я тоже! — с жаром ответил ему Кутовой.

— Что тоже? — удивился Аклеев.

— И я тоже ясно вижу, — простодушно объяснил Кутовой, не имевший ни малейшего представления о морской сигнализации.

— Да это ж сигнал такой. «Ясно вижу» называется! — счастливо рассмеялся Аклеев, от души прощая Кутовому его невежество. — Видишь, выпел на фалах нока-реи!

Иди, угадай, что Аклеев называет фалами нока-реи. Но Кутовой все же сообразил, что это, верно, те самые снасти, на которых висит красный трехугольный флажок. А главное, он был теперь убежден, что тральщик идет к ним, и он побежал в каюту, где Аклеев уже склонился над совсем ослабевшим Вернивечером.

— Степан!.. Степа!.. Вернивечер! — тербил его Аклеев за здоровую руку. — Вставай, Степа! Все в порядке! К нам, браточек, тральщик подходит!..

Вернивечер не сразу открыл глаза. Он боялся показать свою слабость, он боялся расплакаться, так у него испортились нервы. Но все же спустя минуту, когда его друзья совсем уже за него испугались, он медленно приподнял свои восковые высохшие веки, увидел исхудалые, но счастливые лица Аклеева и Кутового, склонившихся над ним, и молча им улыбнулся.

— Вон он, Степа! — негромко, словно опасаясь нарушить торжественную тишину, царившую вокруг, промолвил Аклеев. — Вот он, наш БТЦ!.. Сейчас мы тебе его покажем!

Он приподнял Вернивечера, чтобы тот через окно мог увидеть приближавшийся корабль. «Параван» был сейчас уже совсем близко, кабельтовых в двух, не больше.

А Кутовой, лихорадочно пошарив рукой в рундучке, извлек оттуда заветную фляжку и глянул вопросительно на Аклеева. Аклеев утвердительно кивнул головой, и тогда Кутовой протянул ее Вернивечеру и сказал:

— Пей, браток! Пей всю, сколько есть! Теперь ее беречь нечего!

Это было похоже на сон: можно не экономить воду! Вернивечер выпил всю воду из фляжки. Ее оказалось очень немного.

— Теперь ты, Степа, приляг, а нам надо на корму, встречать, — деликатно обратился Аклеев к Вернивечеру, но тот протестующе поднял руку и неожиданно сильным и звонким голосом произнес:

— И я с вами... на корму!

Спорить с ним было некогда, бесполезно, а может быть, и несправедливо. Аклеев обнял его за талию, здоровую его руку положил к себе на шею и медленно, очень медленно повел еле переступавшего ногами Вернивечера на корму. Тем временем Кutowой энергично смахивал с палубы валявшиеся сотнями стрелянные гильзы. Очистив палубу, он зачем-то расправил складки флага, который, как только Кutowой огнял руку, повис попрежнему, потому что не было и признаков ветерка. Потом Кutowой, тоже неизвестно зачем, стал выдергивать из рамы кормового окна каюты торчавший острым зубом осколок оконного стекла, порезал себе палец, весело рассмеялся, словно это была бог весть какая радость, пососал ранку и поспешил помогать Вернивечеру подняться по трапичку на корму.

Тральщик был уже метрах в пятидесяти, когда трое друзей выстроились на тесной корме лимузина. Они стояли рядом, прижавшись друг к другу: с правого фланга — Аклеев, поднявший правую руку к бескозырке, а левой крепко поддерживавший за талию Вернивечера, у которого от чудовищной слабости подкашивались ноги и нестерпимо кружилась голова; с левого фланга — Кutowой, тоже охвативший Вернивечера за талию, а здоровую его руку закинувший себе на шею и придерживавший ее для верности левой рукой. Они стояли, равняясь на приближавшийся корабль, и старались, насколько им позволил повисший на их руках Вернивечер, высоко, по уставу, по-краснофлотски держать головы. Они молчали, глаза их смотрели торжественно, даже сурово. Несколько минут отделяли их от окончательного спасения, огромная радость переполняла их сердца, и это была не только обычная и такая понятная радость людей, вырвавшихся из смертельной опасности, но и торжество, которое доступно лишь настоящим воинам, людям, которые до последнего своего вдоха не сдаются и поэтому побеждают.

Командир «Паравана» увидел с мостика выстроившихся на корме лимузина изможденных, обросших краснофлотцев, сохранявших строй и выправку в минуты, когда им простительно было бы самое неорганизованное проявление своих чувств. Он понял: это севастопольцы, и всем взволнованным существом своим почувствовал, что они заслуживают особой, необычной встречи. И поэтому когда «Параван» и лимузин поравнялись форштевнями, капитан-лейтенант Суховой поднес к губам свисток. Длинная серебристая трель задорно прорезала праздничную тишину раннего еще прохладного утра. Это было «захождение». Услышав этот сигнал, все находившиеся на верхней палубе и на мостике «Паравана» приняли стойку «смирно». Краснофлотцы и старшины вытянули руки по швам, главные старшины, мичмана и командиры поднесли ладони к козырькам своих фуражек. Так встречают прибывающего на корабль флагмана, а ведь это был только маленький, раздолбанный рейдовый лимузинчик с командой из трех краснофлотцев!

Прозвучали два коротких свистка — отбой «захождения», — два краснофлотца зацепили лимузин баграми, и он впервые за последние пять суток снова продолжал свой путь на механической тяге. Два других краснофлотца прыгнули на лимузин, подхватили находившегося в глубоком обмороке Вернивечера, которого еле удерживали на своих слабых руках его друзья, легко передали раненого на борт санитарам, уже ожидавшим его с носилками.

— Теперь оружие,— сказал Аклеев Кутовому, и они попытались поднять «максим». Но сейчас это была уже ноша не по их силам. Краснофлотцы тральщика передали на борт оба пулемета, Аклеев вынул из гнезда флаг, под которым сражался и совершал свое плавание лимузин, свернул его и, крепко сжав в левой руке, с трудом, но все же без посторонней помощи вскарабкался на борт «Паравана».

— Товарищ капитан-лейтенант! — обратился он к сошедшему с мостика командиру корабля и приложил руку к бескозырке. Он задохнулся от волнения, глубоко вобрал в свои легкие воздух.— Товарищ капитан-лейтенант! Три бойца сборного батальона морской пехоты прибыли из Севастополя в ваше распоряжение: Аклеев Никифор, Кутовой Василий и Вернивечер Степан... Вернивечер Степан тяжело ранен во время боя с немецким торпедным катером. Катер потоплен.— Он передохнул и добавил: — Других происшествий не произошло...

Корабельный фельдшер перевязал Вернивечера, всех троих накормили, насколько это можно было сделать, не убивая истощенных голодом и жаждой людей. Вернивечер и Кутовой сразу же после этого заснули, а Аклеев, поддерживаемый под руку краснофлотцем, поднялся на палубу проверить, как обстоит дело с лимузином.

«Параван» еле заметно двигался. Он шел по инерции, с выключенной машиной. На корме хлопотали у тральной лебедки краснофлотцы, втаскивавшие лимузин на палубу. Вот показался над нею высоко задранный нос лимузина. Аклеев спереди видел его впервые. Ему показалось, что у катерка такое же измученное лицо, как и у Вернивечера и Кутового, умное и усталое лицо человека в очках. Право же, ветровое стекло очень походило на очки.

Спустя несколько минут лимузин уже был на корме «Паравана». Он лежал, накренившись на свой левый борт, маленький, израненный досчатый рейдовый катерок, который шесть суток пробыл броненосцем и перестал им быть, лишь только его покинула команда. Казалось, что и он прикорнул отдохнуть, и капельки воды стекали с его днища, как капли трудного соленого матросского пота.

Теперь уже «Параван» шел полным ходом. Его пушки и пулеметы были готовы к новым встречам с врагом, командир попрежнему находился на мостике. Оттуда он увидел, как Аклеев, проверив, хорошо ли закрепили лимузин, ползл, с трудом передвигая ноги, в кормовой кубрик, где его уже давно ожидала свежая постеленная койка.

Аклеев уснул лишь только улегся. В кубрике было жарко, Аклеев спал, ничем не накрывшись. Его пожелтевшая исхудалая рука свисла с койки. Она висела, как плеть и вдруг ее кисть, обросшая нежным рыжеватым пушком, сжалась в кулак. Это Аклееву снилось, что он снова воюет под Севастополем, в том же самом районе тридцать пятой батареи. Только сейчас уже не наши, а немцы прижаты к обрыву Черного моря. И он, краснофлотец Никифор Аклеев с «Быстрого», прикладом своей винтовки сталкивает с обрыва в море последнего немецкого солдата.

Н. УШАКОВ

## ИЗ КНИГИ «ЛЕТОПИСЬ»

### СЫРОЙ МАРТ

Во сне я видел снег кисельный:  
он,  
черных штор не серебря,  
великий, тихий, но бесцельный  
лежал,  
как серая заря.

Великий —  
был подобен пене,  
тишайший —  
был он неглубок,  
крестили самолетов тени  
его и вдоль и поперек.

Он все глушил холодным грузом,  
и в небе  
не жужжал мотор,

и бомб бесшумные медузы,  
как тени,  
падали вдоль штор.

И тени двор перебежали  
вдоль шторой скрытого стекла.  
И было тесно в том подвале,  
куда беда меня мела.  
За Волгою уже вставали,  
за Рейном ночь еще была.

И не во сне,  
а в самом деле  
за Рейном было все темно.  
Снежинки в темноте летели  
вдоль укреплений Мажино.  
1940

### ПЕРЕД ПАРАДОМ

Опять морской и синий ветер,  
и снова я схожу с крыльца —  
и флаг единственный на свете  
коснулся моего лица.

А за грядой высоких зданий,  
румяных в воздухе морском,  
танкеток слышно громоханье,  
и жужжал аэродром.

И мой каштан мне машет веткой,  
и мой сосед —

погоде рад —  
выходит с красною розеткой...  
— Куда так рано?  
— На парад.

Уже и не видать соседа,  
и только муза предо мной,  
хотя она и привереда, —  
но встать готова  
в общий строй.

1941

## КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ

Невнятный гул,  
розариум — как пламя,  
лазурь  
и черепичный городок.  
А рыцари стоят без шлемов в храме,  
и вот они уходят на восток.

Их жены по-домашнему одеты,  
играют на органах.  
Снова гул.  
Хоть не дожидаться первой им газеты,  
но сообщают:

— Фридрих<sup>1</sup> утонул.

И розы цветут как будто реже,  
и воздух не такой уж голубой,  
орлы,

приманенные кровью свежей,  
на низком небе  
начинают бой.

И пленницы над мертвою долиной  
поют и плачут  
у зеленых вод,  
где через семь столетий с половиной,  
быть может,  
минный вырастет завод.—

В Атлантику уже спешат эсминцы  
солдатским транспортам наперерез,  
уже на танках едут пехотинцы,  
и артиллерией  
обглодан лес.

Взлетают стрелы.—  
Этот свист и шорох  
как бы завод  
на сотни веретен.

Совсем недавно выдумали порох,  
а вот уже и Ковентри сметен.  
И крестоносный самолет,  
нагляя,  
летит на Киев,  
и моя страна  
затемнена  
до самой Адыгеи,  
где нас  
случайно  
застает  
война.

1941

## ОСЕНЬ 1941 ГОДА

Синий Харьков.  
Осень золотая.  
В неподвижном небе тает звук.  
Радио летит,  
не долетая:

наши части... город  
Кременчуг...

Отступаем,—  
не теряя веры,

<sup>1</sup> Фридрих Барбаросса  
один из предводителей крестоносцев.  
Утонул переправляясь через реку в  
Малой Азии (1190).

с поднятой отходим головой.  
В синеве Госпром сияет серый,  
будто он в Алушке голубой.

Радио замолкло,  
и ни звука,  
не звенит осенних листьев медь.

Тетиву оттягиваем лука,  
чтоб стреле

вперед,

вперед лететь!

1941

## «ЮНКЕРСЫ»

Девяносто девятый, сотый...

Сообщают:

их тысяча два.—

Догорают в степи самолеты:

крест с крючками

узнаешь едва.

Он как будто из толстых дощечек,

обгорелых

и сдвинутых вкось.

Заводил свой хронометр кузнечик,—

не спалось старику,

не спалось.

Заводил,

не жалея пружины,

и заснул,

и проснуться не смог.

На озера приволжской равнины

опускается тихий

снежок.

Как щетина травы поседела!

Как по-зимнему

рдеет заря!

Все,

что пламя прибрать не успело,

похоронит

снежок ноября.

1942

## ШЕСТАЯ АРМИЯ

Снег.

И ночи пустыми очами

на германский взирают погост.

Степь.

И ночи стоят со свечами

панихидных

копеечных звезд.

Степь.

И брызги свистят снеговые,

и скрипит под ногами снежок.

Под конвоем

идут рядовые,

офицеры бредут на восток.

Генерал-лейтенанты

и старше —

не ефрейторам разным ровня,—

и меж них

генерал-фельдмаршал

(он фельдмаршал — уже три дня).

Нам бы так повести облаву,

чтобы главному

быть в плену,—

если он позабыл про Полтаву,

пусть хоть помнит Березину.

11.1943

## ОКА — РЕЙН

Над русской Окой нелюбезной

вторую неделю подряд,

подобно посуде железной,

германские «тигры» горят.

Поля здесь пожаром чреваты,

но есть и другие поля:

моторы заводят солдаты.

Шотланец сидит у руля.

От замков шотландских далече

гудит за отрядом отряд:

от жара, сгибаясь, как свечи,

заводы на Рейне горят.

Июнь 1943

## СТАНЦИЯ ГОЛОВНАЯ

Станция головная<sup>1</sup>,  
как тебя, станция, звать?  
Где ты сегодня — не знаю,—  
знаю,— ты дальше опять.

Там, вдалеке, за снегами  
ты представляешься мне  
в галочьем крике и гаме,  
темная,  
но в огне.

Снег и огонь в отдалении.  
Где же составы?  
Где сад? —

На полосу отчужденья  
валится с неба десант.  
Снег кавалерия пашет,  
танк в снежных тучах плывет:  
Красная Армия наша  
рвется на запад  
вперед!

Рвется на запад родная,  
к западу движется бой.  
Станция головная  
будет опять тыловой.  
1943

## СОЛНЕЧНЫЙ УЗБЕКИСТАН

Саблей срезано конское ухо.  
Восемь градусов ниже нуля.  
Начинается завихуха.  
Где же небо?

А где земля?

Стала конская грива незрима,  
в снежных брызгах не видно ни зги.  
Лишь в разрывах летучего дыма  
наши сабли  
и сабли пурги.  
Только крылья орлиные дышат...

Сквозь метель не летели орлы  
со времен самого Алпамыша,  
со времен  
самого Кер-Оглы.

Если снег,—  
значит, сдали морозы,  
значит, надо зимой дорожить.  
Как обидно,  
что нету розы,  
чтобы за ухо заложить.  
1943

## С НОВЫМ ГОДОМ

(Ташкент)

Вечера мы твои полюбили,  
яблонь улица — Алмазар.  
Снег, белее яблонь и лилий,  
тихо валится на базар.  
Здесь недавно еще торговали,  
но закрылась «закуска-хана».  
На залепленном снегом дувалé  
тьнь зимы голубая видна.

Как китайские тени, верблюды  
тихо движутся сквозь снегопад.  
Снег идет,  
и далекие гуды:  
ровно полночь,—  
заводы гудят.

Ровно полночь.  
А снег беспрестанно  
налипает на темном окне.  
С Новым годом,

<sup>1</sup> Передовая станция, занятая нашими частями.

моя несмеяна,  
с Новым годом в иной стороне!

Ровно полночь.  
А снежная глыба

нарастает на черном окне.  
С новым счастьем,  
моя неулыба,  
с новым счастьем в родной стороне  
1944

## ДЕНЬ ПОБЕДЫ. СОРОК ПЯТЫЙ ГОД

Вспоминаю Харьков  
величавый,  
скорбный город,  
сорок первый год:  
поезда ходили до Полтавы,  
но в Саратов уезжал народ.

Мишура осенняя слетала  
на печальный  
привокзальный мир.  
В Харькове стоял он у вокзала —  
раненый пехотный командир.  
Из Дрогобыча он шел,  
из Львова,—  
значит, был солдат он неплохой,  
если мог сказать:

«Увидим снова  
свой Дрогобыч,  
Львов, конечно, свой».

Сколько веры было в командире,  
если мог он в том году сказать.  
«Этак через годика четыре  
Думаю в Берлине побывать».

Побывает.  
Вот — вся Украина,  
вот — уж Будапешт,  
и Вена вот.  
Поезда мы водим до Берлина.  
День победы.  
Сорок пятый год.  
1945

## ВЕСНА РЕСПУБЛИКИ

Как воздух чист!  
Как день горяч!  
Весна — томленье и цветенье! —  
А на моем каштане грач  
чужого домоуправленья  
ко мне в окно  
взглянул умно,  
без разрешенья прут ломая.  
Грача глухое домино  
блистает в небе первая.

И тишина такая тут —  
в мерцающей от почек сини,  
что слышно,  
как бок идут  
там, в Унтергрудене —  
в Берлине.

Там выстрелов скороговорка,  
весна спешит туда сквозь дым  
за лейтенантом молодым,  
который хрипнет от восторга,  
который в громкой глубине  
своим фонариком колдует,  
который молодой весне,  
как семиклассник,  
рапортует,  
на новый выходя рубеж.

О, этот мальчик непоседа,  
и звонкий звательный падеж,  
и ты — весна,  
и ты — победа!  
1945

МИХ. ЛУКОНИН  
ПРИДУ К ТЕБЕ

I

Ты думаешь:  
Принесу с собой  
Усталое тело свое.  
Сумею ли быть тогда с тобой,  
Целый день вдвоем?  
Захочу рассказать о смертном дожде,  
Как горела трава,—  
А ты —

а ты жила в беде,  
Тебе не нужны слова.  
Про то, как чудом выжил, начну,  
Как смерть меня обошла.  
А ты —

ты в ночь грозовую одну  
Волгу переплыла.  
Спеть попрошу,  
а ты сама  
Забыла, как поют.  
Потом меня сведет с ума  
Непривычный уют.  
Будешь к завтраку накрывать,  
И я усядусь в углу,  
Начнешь, как прежде, стелить  
кровать,  
А я — усну на полу.

Потом покоя тебя лишу,  
Вырою щель у ворот,  
Ночью вздрогнув, тебя спрошу:  
«Стой, кто идет?!»  
Нет, не думай, что так приду.  
Жили мы на войне,  
Мы научились ломать беду —  
Работать и жить вдвойне.  
Не за благодарностью я бегу,—  
Благодарить лечу!  
Все, что хотел, я сказал врагу,  
Теперь работать хочу.  
Не за утешением —  
утешать  
Переступлю порог.  
То, что я сделал, к тебе спеша.—  
Не одолжение, а долг.  
Приду работать, в гостях побывать,  
Слова про любовь сложить,  
Взять отвоеванные права,  
Трудно и жадно жить.  
В этом зареве роковом  
Выбор был небольшой,  
Но лучше притти с пустым рукавом,  
Чем с пустой душой.

II

Ты в эти дни жила вдали,  
Не на войне со мной,  
Жила на краешке земли,  
Легко ль тебе одной?

Три лета, три больших зимы —  
Просил: повремени!  
Теперь я рад, что жили мы  
В разлуке эти дни.







М. БАЖАН

## ЭПИЗОД

Вот небольшие яростные птицы  
Вдруг заревут и, накренив крыло,  
Взовьются ввысь — в туманы и в зарницы,—  
В то небо, где от зарев все светло.

Площадка лётная отпрянет, зданье  
Метнется в сторону, мелькнет река,  
И злобный винт пропорет облака,  
Где пламени и дыма колебанье.

Небесная тогда предстанет сень  
Расчерченной огнями боевыми.  
Тогда внизу под крыльями своими  
Немецких крыльев ты увидишь тень.

Тогда, ломая линию полета,  
Металл и мясо вражье, как ножом,  
Коротким, но губительным сгнем  
Разрежешь ты с крутого поворота.

Но сам качнешься вдруг под посвист пуль,  
Как будто ветер завладел тобою,  
И раненой истерзанной рукою  
Сожмешь неповинующий руль.

Хотя стальная птица вниз влекома,—  
Закон земного тяготенья все ж  
Преодолеешь ты и доведешь  
Свою машину до аэродрома.

И пашня за тобой мелькнет в пыли,  
И одолеешь ребра косогора,  
И, рев больного заглушив мотора,  
Услышишь гул и аромат земли.

Подымешь ты прозрачное забрало,  
Друзей собравшихся увидишь ты,—  
И санитарке прохрипишь: «Воды!»  
А жизнь течет, не изменясь нисколько.

Посмотришь на часы, они идут,  
И скажет стрелок точное движенье:  
С момента вылета до возвращенья  
Лишь двадцать, но каких, прошло минут!

*Перевел с украинского Н. Ушаков*

ИВАН БАУКОВ  
НА ПРИВАЛЕ

Я просыпаюсь. Нарушен покой  
Выстрелом патруля.  
За окнами город лежит чужой,  
Чужая вокруг земля.

Дождик чужой шевелится в окне,  
Ветра чужого стон...  
И черная грусть крадется ко мне  
Со всех четырех сторон.

В такие минуты твержу я: «Крепись,  
Грусти пройдет туман».  
А жизнь проходит, проносится жизнь  
Вот так, вот, в чужих домах.

Вдали от любимой, вдали от семьи,  
От собственных чувств вдали...  
Улягтесь, горькие мысли мои,  
Воздушные корабли.

Смотрите—над башней солнце встает,  
Грусти развеяв прах.  
Я понял давно, что счастье мое  
Не в четырех стенах.

И если б не выстрел в ночной тишине,  
Что разбудил тоску,—  
Я б, верно, снова видел во сне  
Ликующую Москву.

Апрель 1945

ВАС. ГРОССМАН

## НА РУБЕЖЕ ВОЙНЫ И МИРА

Казалось, после железных военных лет природа разучилась улыбаться,— так сурова была весна. Мы выехали из Москвы в последнюю фронтową поездку 20 апреля, и всю дорогу — до самой Варшавы — лил злой осенний дождь. По-ноябрьски холодный ветер трепал стебли прошлогодней травы, гнал по небу облака. По обе стороны шоссе горела сухая трава. Тянущиеся на многие километры ленты огня, медленно вяясь, ползли полянами, всползали на холмы — то люди выжигали на заброшенных полях бурьян и сорняки, готовили бедную, истерзанную землю к посеву ржи, пшеницы, ячменя. Многокилометровые огневые змеи формой своей и движением делали видимым и осязаемым ветер, трудолюбиво гнавший огонь по пустынным полям. Там, где ветер был особенно силен, в продуваемых сквозняком долинах и на склонах холмов, огонь бежал быстро, белым клином выдавался вперед, а в котловинах ветру нехватало простора, фронт огня загибался, и красные язычки его вместе с дымом отвесно поднимались к небу. Часто прорывался меленький дождь, едкий дым смешивался с водяной пылью, и казалось, нет суровой, печальней картины. Огромное пространство тонуло в дыму и тумане, мутно светился в этом тумане ползучий, упрямый, не гаснущий от мелкого дождя огонь, чернела обгоревшая земля, вся в угольных комьях спекшейся травы и бурьяна. Но удивительно, эта пустынная земля рождала в душе не печаль и не тоску, не мысль о запустении и смерти. Три великих стихии — огня, воды, земли, встретившись в эту последнюю весну войны, торжественно напоминали о древних космогониях первых греческих мудрецов — Фалеса и Анаксимандра, — мир рождался из воды, огня и земли. Сурова и торжественна картина тяжкого и медленного рождения мира из основных элементов бытия. То была последняя весна войны, но и была первая весна мира. Сотворение мира! Среди этой суровой и торжественной, одновременно радостной и мрачной картины я впервые понял, почему столь щедрый язык наш отпустил лишь одно короткое слово — мир — для обозначения двух великих жизнетворящих понятий.

На месте, где стояла сожженная немцами деревня, остались лишь

невысокие песчаные холмы рассыпавшегося самодельного кирпича, заброшенный колодец, да несколько ржавых железин. Неподалеку, в лощинке, поднимались дымки — тут жили в нарывых во время боев красноармейских блиндажах погорельцы — жители села. Седая женщина с морщинистым, худым лицом, мать убитых на войне сыновей, поила нас водой из консервной банки и, глядя на меня прекрасными, промытыми долгой слезой глазами, сказала печально и протяжно:

— Воскреснем ли?— и, покачав головой, указала на пепелище.

А дальше вдоль всех огромных дорог,— той, что шла к Неве, к Волге, той, что шла к Волхову и к Тереку — к высоким Карельским лесам, к степям и к горам Кавказа,— вдоль дорог, где отступали среди пыли наши армии в первый год войны, высятся холмы и холмики, курганы братских могил, солдатских могил. Смыты дождями и снегом, обесцвечены солнцем карандашные надписи на фанерных дощечках... Спят вечным сном наши мертвые дети, красноармейцы, сержанты, лейтенанты, наши хорошие мальчики, спят братья и отцы малых ребят... И вдоль дорог, которые слились в огромную реку нашего наступления, устремившуюся к Берлину и Кенигсбергу, Праге и Будапешту, Вене и Белграду,— вдоль великой дороги русской славы, дороги могучего торжества советского государства и советских народов, всё курганы, холмы да холмики, могилы наших убитых сыновей, на покосившихся палочках — фанерные дощечки со смытыми надписями. То дождь, плача над могилами, смыл солдатские имена, объединив их всех единым именем павшего сына.

Они, уснувшие навечно у дорог, на холмах, на опушках лесов, среди деревенских пепелищ, среди полей, под обрывистыми берегами рек, среди зеленой болотной травы,— они миротворцы и сотворители мира; на пустынных сегодня полях, спасенных их кровью, посеет завтра народ ячмень и пшеницу. Отдавшие жизнь за свободу своей страны, они вечно живут в делах народа, в его радости и в его скорбях.

В дороге часто приходится говорить с прохожими и проезжими людьми, и, как всегда в пути, прохожий человек, оторвавшись от суеты каждодневных забот, любит пофилософствовать, поговорить о делах государственных, общих, высказать свой взгляд на большие события. Близ польской границы произошла поломка машины, и мы выпущены были долгие часы простоять в поле. Пока чинилась машина, зашел я на хутор. День был воскресный, хозяйка с детьми ушла в церковь, дома оставалась лишь бабка да прохожий человек, освобожденный после ранения от службы боец. Пробираться ему было недалеко, как сказал он мне,— в Орловскую область. Мы разговорились. Прохожий, по имени отчеству Алексей Иванович, человек лет сорока с лишним, был на фронте с первых дней войны, трижды его ранили, воевал он все время в минометных войсках. Шинель его, в черных пятнах, в двух местах изодранная осколками, зимняя шапка, обмотки и тяжелые ботинки — одежда солдата, прибиток, который нес он домой. На хуторе прожил он около двух недель — помог хозяйке посеять, за что получил три пуда ржи. На рассвете должны были его подвезти хозяйскими лошадьми к станции, где он рассчитывал сесть в пустой, идущий от фронта эшелон, и поближе подобраться к дому. Алексей Иванович был очень доволен тем, что заработал хлеба, он даже

повел меня в сени и, улыбаясь, смотрел, как я похлопывал по пузатому плотному мешку.

— Хлеб, хлеб наш насущный,— повторил он несколько раз.

Потом он рассказал о том, как немцы сожгли его родное село, и семья его — жена, дети — живут в землянке.

— Хорошо, что не с пустыми руками иду,— сказал он,— хлебца им с войны привезу, а то, как был после второго ранения в отпуск, посмотрел: трудно живут. Ну и какая жизнь в земле — темно, сырость-насекомое. Летом оно ничего еще, а зимой трудно даже.

Он посмотрел на свои большие спокойные руки, темнокоричневые, точно налитые благородным трудовым железом, и уверенно сказал:

— Ничего, подыдем жизнь, и дом построим, и хлеба покушаем.

И захотелось, чтобы пожилая женщина, накануне спросившая меня «воскреснем ли?» — услышала его спокойные, уверенные слова, она бы, наверное, поверила ему, когда он сказал: «Ничего, подыдем жизнь», — такому нельзя не поверить.

Потом пришла хозяйка с двумя девочками, бабка вытащила из печи горшок, и все сели обедать. Алексей Иванович ел медленно, аккуратно, далеко неся ложку, полную бараньего супа, и как воспитанный человек, держал под ней кусок хлеба, чтобы не капнуло на стол, либо на пол жирное пятно. Ел он по-простому, но какое-то подлинное изящество было в его неторопливых, спокойных, не жадных движениях. После обеда мы закурили и снова разговорились. Рассказывая о своей жизни, он задумчиво гладил по волосам шестилетнюю девочку хозяйки, охотно и доверчиво подставившую под шершавую большую ладонь свою русую голову, украшенную голубенькой, надетой к празднику лентой.

— Да,— сказал он и улыбнулся,— мои ребята победней одеты.

Хозяйка, по всему было видно, уважала его. Должно быть, за эти дни, что проработал у нее, помогая засеять поле, шедший из госпиталя красноармеец, проявился он как большой работник, человек честный и рассудительный. Мне даже казалось, что во взоре этой молодой и еще красивой женщины было нечто большее, чем уважение, когда она вдруг поворачивалась в сторону его спокойного, негромкого голоса и поглядывала на худое, строгое, с наметившимися морщинками, лицо. Но это уж только казалось мне, конечно.

Я наблюдал его — он был одет бедно. Он не был здесь хозяином. Ему принадлежал один лишь мешок ржи, стоявший в сенях. И застеленная белым покрывалом кровать, и расписанные голубыми цветами тарелки, гуси и индюки, подошедшие к порогу, — все это не ему принадлежало. Он был путник, шедший в меченной зимними кострами шинельке, по дальней дороге в сторону своего орловского дома. И все же, удивительное дело, был он здесь главным лицом, бойцом Красной Армии, в этот день ворвавшейся в немецкую столицу — город Берлин, человек, засеявший на пути чужое поле, спешивший домой, где ждали его жена, дети, старики-родители. И он был уверен, что, придя домой, справится с тяжестью мирной заботы, как справился с тяжестью войны. «Ничего, подыдем жизнь, и дом построим», — уверенно сказал он.

Алексей Иванович заговорил со мной о делах государства. Каза-

лось, хватало у него своих забот. Но его не шутя волновали всевозможные и разнообразные вопросы. Стал он говорить об Америке и Англии, о том, как после победы сложится положение в побежденной нами Германии, вспомнил, как ждал он и друзья его по окопной жизни открытия второго фронта, заговорил о тяжести первого года войны, о том, как пойдет жизнь после победы. Все притихли, слушая его, старуха перестала мыть посуду, дети прекратили возню и подошли поближе. Он поглядел на меня и, как бы извиняясь, сказал:

— Мы ведь люди орловские, наша деревня все каменщики, приходилось и в Москве, и в Ленинграде работать. Да и за войну чего не видел, о чем только не думал!

Пришел водитель машины и сказал не очень уверенно:

— Вроде можно ехать, до техпомощи дотянем.

Я дал на прощание Алексею Ивановичу несколько папирос, и он так по-детски обрадовался ничтожному этому подарку, так благодарил меня, что невольно подумалось — видно, не часто в своей жизни получал он подарки...

Пришлось мне за эту поездку видеть своими глазами многое из того, что попадет на страницы истории. Был я свидетелем величественных боев за центр Берлина, видел охваченный пламенем и дымом Берлин в ночь капитуляции. Был я свидетелем многих драматических и величественных сцен, побывал я в исторический день 2 мая в Рейхстаге, в Новой имперской канцелярии, вошел в кабинет Адольфа Гитлера и смотрел на сплюснутый в лепешку, раздавленный рухнувшим потолком гигантский глобус, стоявший у письменного стола честолюбивого злодея, помыслившего завоевать мир. Видел, как на берегу Шпрее наши орудия били прямой наводкой по дому, в котором засели отказавшиеся капитулировать гестаповцы, и в ушах моих сохранился звук последнего берлинского выстрела, а перед глазами и по сей час стоят облака черного дыма и желтой пыли, поднятых над рухнувшими стенами последнего гестаповского убежища. Были у меня беседы и встречи с известными генералами, знаменитыми героями, чьи груди украшены многими наградами.

И вот, удивительное дело, — когда пытаюсь я разобраться в ярком, огромном ворохе последних впечатлений войны, почему-то прежде всего и ярче всего вспоминается придорожный хуторок и эта случайная встреча с идущим из госпиталя бойцом, вспоминается его худое лицо, его умная, тихая речь, мешочек ржи, который он везет в орловскую свою деревню, рассказ о зиме сорок первого года, его шинелька, с темными пятнами огня, его рассуждения и мысли о прошлом и будущем, вспоминается поле, которое он по пути к дому засеял.

Но, конечно, нет в этом ничего удивительного, ничего странного, — именно он, и не кто иной, так остро, сильно запомнился. Этот случайно встреченный прохожий тем и замечателен, что похож он на тысячи тысяч таких же прошедших войну бойцов, что ясный ум его, любовь к труду, спокойная вера в добро, и судьба его, и чудный подвиг терпения и труда, совершенный им с великой скромностью, подвиг, за который не просит он ни наград, ни почестей, все это не его личные черты, а черты доброго и сурового, трудового народа. И когда

прочел я слова Сталина на кремлевской встрече с командующими фронтами, обращенные к русскому народу, к его мужеству, уму, к его терпению, то вновь встал перед глазами главный герой великой войны, — солдат, красноармеец.

Его кровью, его неистребимой верой, его суровым боевым трудом, его страданием вписаны навечно на скрижали славы великие битвы Ленинграда и Москвы, Севастополя и Сталинграда, Одессы, Курска и Белгорода, Тулы и Орла, битвы за Волгу, за Дон, за Днепр, за Буг и за Вислу, битвы за пять европейских столиц, кровавая битва за Берлин. Что же удивительного, что день и ночь, заслоняя самые яркие и пышные картины последних дней победоносной войны, стоит перед глазами фигура нашего красноармейца, таким, каким навечно запомнили мы его: в продранной осколками шинели, в шапке-ушанке, с полупустым заплечным мешочком, с гранатами, заткнутыми за брезентовый пояс. Пожелаем ему от души жизни веселей и полегче, посытней, побогаче. Кто, как не он, заслужил ее! Пониже поклонимся ему все: кто, как не он, заслужил этой поклон!

Мы приехали в Берлин 26 апреля. Над огромным городом стояло огромное, как и сам город, облако черного дыма, воздух сотрясался ударами тысяч орудий: молоты войны ковали победу, канонада соответствовала масштабам битвы. Вечером тяжелое облако дыма засветилось кроваво-черным пламенем, орудийные удары не смолкали, то и дело вспыхивали залпы гвардейских минометов «катюш», и пронзительный звук, напоминающий свист пара, вырывающегося из гигантского паровоза, заполнял пространство. Был очень душный и теплый вечер. В небе клубились многоэтажные гроззовые тучи. К ночи над Берлином разразилась первая весенняя гроза. Хаос облаков освещался пламенем пожаров, светящийся, раскаленный дым подымался к грозвым облакам. Раскаты весеннего грома своей могучей октавой легко поглощали грохот орудий, вспышки выстрелов блекли в голубом пламени небесного огня.

Мы шли по аллее парка к штабу, разместившемуся в замке фон Трескова. Хлынул щедрый теплый дождь. В свете белых и голубых вспышек ярко возникали тяжелые мокрые грозди махровой сирени. Огонь освещал заросший пруд, огромные деревья и заблестевшие от дождя нагие фигуры статуй. Дождь вскоре прошел, запахи молодой листвы, цветов, прелого листа, земли, сырости, шедшей от пруда, осилили дымное и сухое дыхание пожарниц. Картина была грозная, величественная и в то же время полная нежной поэзии; не хотелось обрывать удивительного ощущения, возникшего в старом парке, мы невольно сдерживали шаги. Охватить мыслью происходящее казалось невозможным. В эти часы в огромный узел связались сотни и тысячи нитей, сблизилась столетия, воплотились в кровь и плоть, стали осязаемы исторические судьбы огромных государств, судьбы Европы. Битва в Берлине в грозную весеннюю ночь! Стрелковые дивизии, артиллерийские полки и танковые корпуса Красной Армии штурмуют Люстгартен, рвутся к Унтер ден Линден, к Бранденбургским воротам, к Новой имперской канцелярии, где, затаившись в глубоком трехэтажном подвале, сидели над последней картой войны Адольф Гитлер и Геббельс. Два километра отделяли острие карающего меча от

величайших злодеев мировой истории. В штабах отдавались приказы: «Огонь по Тиргартену!», «Огонь по Аллее побед», «Выбросить стрелковые подразделения к берегу Шпре!»

Свершилось!

Волей Сталина, подвигом народа свершалась победа...

## II

По парку мы прошли в штаб генерал-полковника Берзарина. Высокие залы замка едва освещались маленькими лампочками, питавшимися от штабного движка. Смутно выступали из сумрака бронзовые статуи, печально и мелодично заиграли высокие, похожие на белую башню часы. Трогательно звучала нежная и простая мелодия, рожденная старинным скрипящим механизмом, словно из мрака времени седой старик вдруг запел детскую наивную песенку. Я сел в кресло у горящего камина, раскрыл книгу: крупным дрожащим почерком на заглавном листе стояла роспись владельца — «фон Тресков».

А штаб жил своей жизнью. Над огромным листом карты, последним листом карты в эту войну, склонился полковник, начальник оперативного отдела. Красные стрелы, обозначающие движение наших армий, со всех сторон стремились к синему кругу в центральной части Берлина. Этот темный круг был последним плацдармом Гитлера. Силы зла, грозившие захлестнуть мир, разлившиеся от южных до северных морей, от берегов Африки до западного берега Волги, были стиснуты, обложены в центре Берлина. Тело фашистского государства рассекли встретившиеся на Эльбе Красная Армия и дивизии американцев, его ядовитое сердце было сжато железным кольцом советских армий. Пригороды и окраины огромного города уже были в наших руках. Трентов, Иогансталь, Темпельгоф, Нойкельн, Буков, Вайсензее, рабочий Веддинг, бывший некогда красным, Шпандар, Шарлоттенбург, Ванзее, Потсдам с прелестным парком Сан-Суси. Большая часть этих окраин и пригородов сохранилась, дома в них уцелели. Здесь сконцентрировалось население Берлина, значительно более двух миллионов человек, здесь стояли целые дома, цвели в садах тюльпаны и сирень. В руках фашистов осталась центральная часть Берлина, обращенная в пустыню страшным, но справедливым гневом англо-американской авиации. То был суровый и жестокий символ: те, кто хотели предать огню и разрушению весь мир, ныне сами гибли среди пустынных развалин. Сотни и тысячи разрушенных зданий стали последним приютом фашистских полчищ, отрядов эсэсовцев, полицейских полков. Среди фантастических нагромождений кирпича и бетона, среди рваного кружева уцелевших кое-где стен, среди сплетения связанных в узлы стальных балок и рельсов, в сокрушенных и давно покинутых населением кварталах, в хаосе камня и металла разместились в последние дни своей жизни штабы фашистских дивизий и полков.

В подземельях Новой имперской канцелярии затаился главный штаб фашистской обороны, демоны мирового зла. Кого защищали они? Германию? Нет. Обманутая и купленная ими в дни успеха Германия отворачивалась от них в дни поражения и катастрофы. Они защищали себя, они дрались за лишний день жизни. Непревзойденный мастер

демагогической пропаганды доктор Геббельс велел измалевать все берлинские стены, заборы, мостовые гигантской надписью: «Berlin bleibt deutsch!» («Берлин останется немецким!»). Фашистская верхушка, в роковые для себя часы, не посмела обратиться к населению с призывами верности фюреру, с испытанными в годы успеха расистско-нацистскими воззваниями, со своими партийными лозунгами. «Берлин останется немецким!» Дважды два четыре. Никто и не спорит с этим. Командование Красной Армии и командование союзных армий и не собиралось опровергать этот бесспорный факт. Конечно, Берлин не будет ни турецким, ни китайским, он останется немецким городом. Ради чего было гордиться сыр-бор?

Геббельс сообразил в последние часы своей узурпаторской деятельности, что игра проиграна вчистую, что Берлин никогда во веки веков уже не будет нацистским и пытался раствориться, объединиться с арифметическими истинами, спрятаться за спину бесспорных и общих идей.

А штаб, размещившийся в высоких полутемных залах замка, продолжал свою работу. То и дело звонил полевой телефон, постукивая сапогами, входили связные, дежурные целомудренно курили в рукав, майор негромко договаривался с другим майором пойти ужинать. В некоторых комнатах укладывали штабное имущество: наутро предстоял переезд в один из близких к центру районов Берлина. Досчатые ящики, столы, закапанные чернилами и стеарином, самодельные табуреты, облезшие старые пишущие машинки, проделавшие тысячекилометровый путь, изведавшие жизнь в сырых блиндажах, бревенчатых и мазаных хатах, делившие всю горечь и тревогу войны с офицерами штаба, собирались переехать из одного берлинского замка в другой. Никому, естественно, не приходило в голову обменять эту убогую утварь на новую, лучшую,—то было священное имущество, с ним были связаны тяжкие времена войны, с ним будет связана пора побед и торжества.

Наступление продолжалось ночью. Вновь и вновь поскрипывали, трещали похожие на белую башню часы и звучала наивная песенка. Грузный, с седой, стриженной ежиком, головой, Берзарин, выглядавший куда старше своих сорока лет, сидел за телефонами, над планом города. Из района Иогансталь и Темпельгофа рвались к центру гвардейцы Чуйкова и танковые корпуса Катукова, с севера врвался в центр Берлина генерал-полковник Кузнецов и танкисты генерала Богданова. Пять генерал-полковников, напрягли всю свою волю, стремились корпуса и дивизии к Тиргартену, к Рейхстагу, к Новой имперской канцелярии, к пятиэтажным бетонным бастионам центрального пульта противовоздушной обороны Берлина. С юга и юго-запада вырвались стремительные танковые корпуса генерала Рыбалко и Лелюшенко. Цвет Красной Армии, люди, закаленные в битвах Сталинграда, Курска, Днепра, Буга, Вислы, сокрушая противника, ревниво и напряженно следили друг за другом, донося маршалу о своих делах. Шло великое соревнование за честь первыми вырваться к центру Берлина. Великолепным азартом этого соревнования были охвачены войска—от генералов до рядовых бойцов. И видно было, как скучнели лица начальников, когда по телефону доносили, что сосед вырвался вперед, обогнал на пятьсот—восемьсот метров.

— Может быть, врет?— спрашивали с усмешкой,— говорят, сосед любит приврать.

Берлинское сражение — одно из величайших и самых жестоких сражений этой войны. В нем участвовали огромные воишские массы, и колоссальные силы техники. Битва за Берлин решалась прежде всего далеко за пределами города на Одере, на Кюстринском плацдарме, на зловещих Зееловских высотах, эта битва решалась великолепными обходными маневрами, захлестнувшими, на этот раз окончательно и бесповоротно, многочисленные дивизии пресловутой 9-й немецкой армии. Эта битва решалась стремительными ударами огромных танковых масс во фланг и в тыл берлинской обороны. Последний этап битвы, развернувшейся в самом Берлине, характерен необычайным кровопролитным ожесточением. Часто в период затишья, предшествовавший последней битве, приходилось слышать разговор фронтовиков о том, что горько погибнуть в последние дни и часы войны людям, прошедшим через годы железа, крови и смерти. Но именно эти люди, ветераны Отечественной войны, щедро пролили свою кровь в последних боях, и никто из них не помыслил быть осторожней, уступить свое передовое место. И немало прекрасных товарищей, чьими славными делами мы восхищались на всем огромном пути от Сталинграда до Берлина, погибли среди развалин фашистской столицы.

С каждым метром, приближавшим наши войска к центру Берлина, нарастало напряжение сражения. Полнокровная силища Красной Армии сотрясала весь город, сражение шло под землей, в туннелях метро, на земле среди развалин, в воздухе. Надо думать, Гитлер и Геббельс, доказывавшие немцам, что обескровленная и обессиленная Красная Армия давно не в состоянии наступать, сидя в глубоком подземельи, сотрясаемом богатырскими ударами нашей артиллерии, воочию убедились, что ложь, верховными жрецами коей были они,— ничтожное и пустое средство в большой войне и большой политике и что чем наглей и и преступней ложь и демагогия, тем беспощадней историческая расплата за них.

Утро капитуляции Берлина

Пасмурно, холодно, моросит дождь. В тяжелом черном дыму, стелющемся меж домами, выстраиваются бесконечные, не имеющие конца и начала, колонны капитулировавших войск. Пожары, точно факелы, освещают последний парад обезоруженных немецких дивизий, медленно движущихся среди развалин. Одни идут, сгорбившись, опустив головы, другие жадно и напряженно смотрят по сторонам — вглядываются в нагромождения сокрушенных домов. Многие из тех, что шли в этот день безоружными среди развалин побежденного Берлина, собирались в октябрьский день 1941 года промчаться на автомобиле по улицам пылающей, покоренной Москвы, сфотографироваться на Красной площади, у сокрушенной кремлевской стены, на фоне разрушенного мавзолея Ленина, оглядеть небо, черное от дыма, красное от пламени горящего Кремля. Может быть, об этих своих мыслях вскоминают они сегодня, в день жесточайшего своего поражения, в день величайшего нашего торжества? Они идут, идут, нет им конца: дивизии солдат, полицейские батальоны, полки фольксштурма, седые старики и подростки. Они выходят из домов, из-за баррикад, толпами поднимаются из туннелей метро,

все растут горы сложенного ими оружия, тихо звякают, падая на землю, винтовки, автоматы, штыки, кортики, пистолеты, растут горы невзорвавшихся гранат, глядят в дымное небо дула пораженных немотой зенитных и полевых орудий, широкие пасти тяжелых минометов и пушек.

На уцелевших улицах из домов вышли тысячи жителей, они стоят плотными шпалерами на тротуарах и молча, напряженно смотрят на бесконечный поток батальонов, полков, дивизий, корпусов, уходящий из Берлина. А сложившие оружие немецкие солдаты идут и тоже молчат и тоже напряженно смотрят в лица стоящих женщин, мужчин, старух, детей.

Умолкли орудия. Тишина. В небе пусто, не гудят самолеты. Молчание. Черный дым клубится над городом. Молчание, тишина. Лица стоящих, лица идущих напряжены, сосредоточены. В этот день катастрофы фашизма, капитуляции огромной армии, оборонявшей Берлин, в день, когда замерли тысячи типографских машин, печатавших коричневые газеты, когда замолкли радиопередатчики, круглосуточно передававшие речи, приказы, статьи руководителей германского фашизма, и над Берлином вдруг воцарилась тишина, — германские войска и германское население невольно оглянулись на двенадцатилетний путь, пройденный Германией под черными знаменами фашизма. Пусть долго длится это молчание, пусть долго не сходит выражение напряженной, тяжелой мысли с этих десятков и сотен тысяч лиц, пусть погуще соберутся морщины на лбах тех, что идут, и тех, что смотрят на идущих. Им есть о чем подумать.

Что думали эти трагически молчащие сегодня толпы, этот молчащий сегодня народ, в тот всем памятный день 1933 года, когда избранный волей многомиллионного большинства Адольф Гитлер стал канцлером «Третьей империи»? Сколько тысяч людей из стоящих сегодня среди разрушенных улиц павшего Берлина сказали в тот знаменательный день мюнхенскому коричневому волку «да»! Молчали ли так же, как они молчат сегодня, эти стотысячные толпы, в те дни, когда коричневый вожь Германии, проезжая на украшенном цветами автомобиле, объявлял населению столицы о падении Варшавы и Осло, Амстердама и Брюсселя, Белграда и Парижа, о начале последнего штурма Москвы? Сегодня немецкий народ молчит, хмуро и растерянно оглядывается, думает. Пусть же долго длится это молчание, пусть не сходит выражение напряженной мысли с сотен тысяч, миллионов лиц.

Многие ли из этой несметной толпы поднимали голос протеста в ту пору, когда имперские радиостанции, захлебываясь, сообщали о тотальном разрушении Ковентри, о первых бомбардировках Лондона? И кто из тех, кто молчит сегодня, произнесли слова протеста, когда Гитлер приступил к планомерному обращению в рабство славянских народов? И, наконец, многие ли из них осудили, пусть даже в сердце своем, коричневую свору, совершавшую беспрецедентное в истории людского рода убийство шести миллионов евреев, — грудных детей, беззащитных женщин, стариков и старух? Да, многие из тех, что сегодня искренно, от всей души произносили слова проклятия коричневым главарям, умывши руки, молчали, когда возопили камни, многие кричали «хох», когда мир онемел перед картиной чудовищных преступлений гитлеризма.

В этот дождливый, пасмурный день, черный день Германии, я говорил со многими немцами.

С ужасом и отчаянием смотрели они вокруг себя, точно проснувшись, словно впервые увидев тысячи разрушенных зданий, разбитые бомбами памятники, музеи, кайзеровские дворцы, сокрушенный тяжелой американской бомбой Берлинский собор, точно впервые поняв бессмысленность и безвозвратность понесенных ими потерь. Да, скажем прямо — нелегко было этим людям смотреть на плененную армию, на столицу, обращенную в развалины, на советское знамя, поднятое в дыму и в огне над Рейхстагом, на тысячи советских орудий и танков, с грохотом движущихся по Унтер ден Линден, по Аллее побед, по Тиргартену, мимо обелиска, увенчанного золотой фигурой Победы. Формула «Гитлер капут» сменилась новой: «аллес капут». Я глубоко убежден, что подавляющее большинство немцев лишь в этот день до конца осознало полную бессмысленность понесенных лишений, потерь, разрушений, смертей. И до этого дня немцы знали размеры понесенных жертв, но этот день — был днем смерти надежды, днем, когда стало ясно: жертвы понесены бессмысленно и безнадежно.

На последнем этапе войны Гитлер часто напоминал, что жертвы и разрушения огромны, и лишь побежденный, обращенный в рабство мир сможет каторжным трудом вернуть и восстановить то, что сожрала война... То была последняя надежда. Так катящийся в бездну игрок все увеличивает ставки, пытаясь вернуть безвозвратно потерянное.

Я глубоко убежден, что тысячи немцев, кричавших некогда «Хайль Гитлер», побили бы фюрера камнями, задушили бы его, появившись он в это туманное, холодное утро среди развалин ставшего на колени Берлина. Тысячи немцев ненавидели его в этот день в этом нет сомнения. Но многие ли среди молчаливой толпы, с отчаянием и горем глядевшей на Берлин, разрушенный, подобно Бастилии, во имя свободы и чести оборонявшегося человечества, — многие ли из этой толпы, подведшей в день 2 мая окончательный итог ужасной войны, думали о других ранах, во сто крат ужасней, о тысячах сожженных белорусских, украинских, русских деревнях, о десятках и сотнях снесенных с лица земли советских городах? Думали ли они, подведя итог войны, о Майданеке, Трешлинке, Освенциме, Бельжице, Собибуре, о бесчисленных и безымянных оврагах, карьерах, каменоломнях, о страшных прямоугольных ямах, о лесных рвах, где в навал, утрамбованные лежат миллионы трупов женщин, детей и стариков, убитых во имя преступной идеи расового господства?

Не знаю, думали ли об этом немцы 2 мая 1945 года.

Но об этом думали мы. Есть репарации более важные и значительные, чем материальные возмещения: репарации моральные. Немецкий народ должен осознать, измерить безмерную глубину моря крови и слез, которыми был затоплен мир в годы войны. Он должен подумать не только о своих, но и о чужих страданиях.

Немецкий народ должен на веки веков, пока над землей светит солнце, разрубить цепь, связывающую любовь немца к своей родине с человеконенавистнической, преступной «государственностью». Мы поможем немецкому народу порвать эту цепь. Кое-что за последние годы мы уже сделали в этом направлении. Великий советский народ чужд иде-

ям мщениа, гуманная и добрая душа русского народа родила пословицу «кто старое помянет, тому глаз вон», но мудрый народный разум дополнил эту пословицу словами: «а кто старое забывает, тому оба глаза вон». Не думать о старом, это значит не думать о новом, о грядущем. Забыть прошлое, это значит не видеть будущего, ослепнуть на оба глаза.

Чем ближе к центру Берлина, тем трудней пробиться через нагромождение разрушенных зданий. Все проезды, проходы забиты обозами, артиллерией, бесконечными колоннами грузовиков. Тысячи радостно возбужденных советских людей стремились к центру Берлина, к Рейхстагу, к Аллее побед. Сколько мимолетных впечатлений, встреч, тут же, кажется, исчезающих из сознания и внезапно через день-два вновь возникающих в памяти, как долгое и значительное воспоминание. Запомнился мне пустой, казалось, разговор с пожилым, усатым ездовым, с темнокоричневым морщинистым лицом, стоявшим на углу Лейпцигштрассе, около своих малорослых лошадок. Пока регулировщики «расшивали» пробку на перекрестке улиц, мы беседовали. Лицо ездового весело усмехалось, его небольшие, светлые, глубоко сидящие глаза смеялись, когда я подошел к нему, ему, видимо, хотелось с кем-нибудь побеседовать в этот торжественный для всех день. Он оказался украинцем, жителем одного из сел Винницкой области.

Я спросил его про Берлин. Как он находит этот город?

— От бачите,— сказал он,— вчера таке дило получилось в цим Берлини. Бой иде, ось на цей сами улицы, снаряды немецки так и рвуться. Я стою коло коней и у мэнэ обмотка развязалась, тильки я нагнувся намотать, снаряд як дасть! Кинь злякався тай побиг, от цей, а вин молодой, да дурный трохи. От я и думаю, шо мени робыть: чи ту обмотку наматывать, чи за тым конэм бигты? Ну и побиг, обмотка тягнеться, снаряды так и рвуться, и кинь мий бижить, а я за ним. От тут я побачив, шо це есть за Берлин! Два часа биг тильки по одной улыци, ей кинця нема! Бижу та думаю—ото Берлин! Берлин, Берлин,— а коня, я-таки нагнав!

Мы посмеялись этому происшествию, а ездовой вдруг сказал:

— Я вам ще одно дило хочу сказать. Утром цього дня, як почалы нимци в плен сдаваться, пришов ваш командир полка до обозу, почав пытать ездовых, як кто рапортовать умие, ну, нихто, вси молчать! Подходьть до мэнэ, а мэнэ нихто и не чвий и сразу я ему рапортую:

«Товарищ подполковник, ездовой, красноармеец Хоменко. Кони здоровы, подвода справна, грузу маю: сахару два мешка, муки три мешка, манной крупы мешок».

И все. От подполковник каже:

«Это молодец, рапортует, как надо, видать старый солдат»,— и дав мэни щекоту може с полкило.

Рассказав эту историю, ездовой смутился. У него, как и у всех нас в этот день, была потребность гордиться собой, ет он и рассказал случайному своему собеседнику, как в день капитуляции Берлина заслужил похвалу начальника. А смутился он потому, что не в природе нашего простого человека хвастать и, может быть, впервые в жизни похвастался он. Думается мне, ездовому Хоменко, прошедшему в полковом обозе полторы тысячи верст, сквозь осеннюю холодную грязь,

сквозь метели и степные морозы, сквозь пыль и адскую жару, под жестоким огнем,—простится сегодняшнее его бахвальство на углу Лейпцигштрассе.

Но вот пробка «расшита», наша машина медленно движется дальше к Рейхстагу. На одном из перекрестков мы вырываемся из общего потока машин и обозов, выезжаем на совершенно пустынную улицу. Курится дым под развалинами домов. Мостовая завалена остатками машин, забита обгоревшими немецкими танками, разбитыми пушками, на тротуарах, на мостовой лежат трупы убитых немецких солдат — ночью здесь шел бой. Почти у всех убитых в руках оружие — один сжимает винтовку, другой автомат, многие стиснули в руках гранаты. Это те, кто не хотел капитулировать. Кого защищали они? Успели ли они понять перед смертью, что не Германию, не Берлин, не себя и не свои семьи защищали они. Они лежат под стенами, на которых торопливо выведено белой краской «Берлин останется немецким» — последний геббельсовский лозунг. Коричневая свора сокрушена, Берлин останется немецким. За кого же погибли они, эти лежащие с гранатами в руках убитые немецкие солдаты? Но вот мы, наконец, выезжаем к полуразрушенному зданию Новой имперской канцелярии, к величественному зданию Рейхстага. Красное советское знамя поднято над полуразрушенным куполом его. Бранденбургские ворота, как массивная рама, обрамляют картину берлинского пожара. Клубы черного, рыжего, серого дыма медленно вздымаются над Унтер ден Линден, красное пламя рвется к небу. Даже ко всему привыкшие, насмотревшиеся всяких пожаров военные люди останавливаются и долго молча смотрят на грозную и величественную картину. Рейхстаг окутан серой, полупрозрачной дымкой. Фашисты озаменовали свой приход к власти и свой бесславный уход поджогом здания, над входом в которое написано: «Немецкому царю». Но этот второй пожар потушен нашими бойцами.

В полуразрушенном здании Новой имперской канцелярии по тянущемуся на сотни метров вестибюлю катались на велосипедах два молодых красноармейца, надо сказать, дело у них не очень ладилось, но это их мало огорчало.

Мы осмотрели кабинет Гитлера, из-под слоя упавшей штукатурки виден был раздавленный глобус, стоявший раньше возле письменного стола, на полу валялись книги из личной библиотеки Гитлера с льстивыми дарственными надписями его клеветов и подхалимов из мира германской науки и искусства, письма, адресованные ему, бумаги. И самый кабинет Гитлера, и приемные залы, и кабинеты остальных фашистских руководителей должны были подавлять посетителя огромностью своей. Но что огромные размеры гитлеровского кабинета по сравнению с огромностью преступлений, рожденных в этом проклятом месте! Что слышали эти стены в часы ужасных ночных бесед, когда собирались за этим столом Гитлер и Геббельс, усмехались рассказам Гимmlера о залитой кровью Польше, Белоруссии, Украине, об Освенциме, Трестинке, Майданеке? Как не рухнули эти стены, как не разверзлась, содрогнувшись, земля, под фундаментом этой новой адской канцелярии? Да будут благословенны руки, разрушившие этот дом.

В Рейхстаге шла «деловая» жизнь, в вестибюле, на каменных плитах бойцы Красной Армии, с лицами еще неотмытыми от пыли и дыма

ночного сражения, варили в котелках чай, тихонько играла гармошка. Конечно, вестибюль Рейхстага не место для разведения костров и кипячения чая, но что этот невинный и добрый огонек, который тут же, едва чай вскипел, бойцы тщательно потушили, по сравнению с тем огнем над Рейхстагом, который зажег Гитлер,—огонь, испепеливший половину Европы.

На площади, где высится обелиск, увенчанный золоченой фигурой Победы, где среди срубленных снарядами деревьев стоит тяжелый памятник Бисмарку, к вечеру собрались сотни красноармейцев. Небо очистилось от туч и дыма, поголубело, золоченая фигура засверкала в вечерних лучах солнца. Десятки цветных ракет полетели в воздух, броня танков не стала видима под горами цветущих яблоневых и вишневых ветвей, стальные стволы пушек украсились тяжелыми ворохами махровой сирени, перевитой красными лентами. Отовсюду слышались музыка, пение. В разных местах площади собирались кружки бойцов, слышались взволнованные речи, многие плясали. На площадь победы пришли люди из стрелковых батальонов, из танковых бригад, артиллеристы, саперы, летчики. Это был прекрасный, выстрадавший, завоеванный кровью и потом час нашего торжества, и красноармейцы, сыны и ветераны великой армии, торжественно, красиво и просто отпраздновали его.

Этот народный, стихийно возникший праздник достойно увенчал день берлинской победы.

### III

Войска 1-го Белорусского фронта первыми закончили войну. Еще гремели орудия на севере и на юге, еще продолжалось бессмысленное сопротивление немцев в Либавском мешке, а перед армиями 1-го Белорусского фронта, вышедшими к спокойному течению Эльбы, не осталось ни одного вооруженного неприятеля. За плечами фронта лежал огромный путь от Волги и Сталинграда: Калач, Курск, Орел, Глухов, Гомель, Рогачов, Бобруйск, Брест, Ковель, Люблин, Варшава, Лодзь, Познань, Шверин, Кюстрин и, наконец, вражеская столица Берлин.

Пришло время оглянуться назад, задуматься, вспомнить, постараться осмыслить весь величайший победоносный поход, начатый в туманное, темное утро 19 ноября 1942 года и закончившийся в первые дни мая 1945 года в Берлине, Науэне, Бранденбурге, на берегу Эльбы.

Именно теперь пришло время вспомнить Дубовку, Елыпаяку, Ольховку, Малую Ивановку, Окатовку, Котлубань, Ловкое, деревни и хуторки между Доном и Волгой, где зарождалось и началось наше наступление, вспомнить глинистый желтый обрыв над Волгой, где в темном и душном подземельи девяносто дней и ночей пробыл со своим штабом командующий 62-й армией Чуйков, закончивший войну в побежденном Берлине.

Оттуда, из ноябрьской темной, плоской степи, из темных, обшитых досками домиков сталинградских деревень, пришла победа. Ученые стратеги, военные историки разработают драгоценные материалы, проследят шаг за шагом путь наших армий, разберут во всех подробностях каждую крупную операцию, напишут объемистые книги о полководческих

замыслах и о боевом, практическом осуществлении этих замыслов. Им предстоит не малая работа, и ее не следует откладывать.

Социологи, историки, публицисты постараются объяснить себе и своим читателям логику социальных и исторических отношений, приведшую нас к всемирно-исторической победе. Они раскроют во многих деталях и, надо надеяться, во всей глубине, все элементы и условия, определившие победу советского государства над фашистской империей в титанической, невиданной миром борьбе, покажут, что в победе этой не было элементов случайного.

Писатели напишут романы, драматурги — пьесы, они расскажут о торжестве советского человека, о силе его, мужестве, о тех великих испытаниях и страданиях, которые преодолел он на пути к победе.

Но сегодня, когда не написаны книги и объемистые сочинения, у рядового участника и очевидца великих событий рождается желание самому оглянуться на пройденную дорогу, осмотреться вокруг, самому понять течение огромного исторического действия, свидетелем и участником которого довелось быть. Но мыслимо ли это, можно ли в неулегшемся еще хаосе событий проследить законы, по которым свершалась война?

Мне много пришлось говорить с красноармейцами, простыми, умными людьми. Народ часто лишь задает себе вопрос и, не отвечая на него, в самом уже вопросе находит очень глубокое, внутреннее духовное решение, важное и нужное человеку; словесный ответ, каков бы он ни был, не так уж интересен, пусть даже он будет ясный, четкий, простой ответ.

Вот теперь в Германию, в Берлине, наши бойцы стали особенно настойчиво задумываться — отчего же немец внезапно напал на нас, для чего нужно было Германии начинать эту ужасную, жестокую и несправедливую войну? Миллионы наших людей увидели сегодня богатые и сытые хозяйства немецких фермеров в Восточной Пруссии, увидели отлично организованное сельское хозяйство, увидели бетонированные скотные дворы, увидели просторные комнаты, ковры, гардеробы, полные платья, словом, увидели исторически, постепенно сложившийся за столетия относительно высокий уровень материальной жизни немецкого бауэра. Миллионы наших людей увидели немецкие шоссейные дороги, проложенные от деревни к деревне, увидели последнее слово дорожной техники, автостреды для восьми и десяти идущих в ряд машин. Наши люди увидели в берлинских предместьях и в дачных районах двухэтажные дома с электричеством, газом, ваннами, с великолепно возделанными садами. Наши люди увидели виллы крупной берлинской буржуазии, умопомрачительную роскошь замков, поместий, особняков немецких капиталистов и аристократов, увидели пышную, тучную роскошь квартир западных районов Берлина, где живут фабриканты, заводчики, владельцы торговых фирм, больших магазинов, крупные техники, крупные чиновники и пр.

И гневный вопрос — почему немец напал на нас — сейчас, когда война кончилась, с новой силой возник в сознании людей.

Тысячи бойцов в Германии повторяют сейчас, оглядываясь вокруг себя:

— Зачем же они шли на нас, чего им нужно было?

И в этом гневном вопросе, в суровом недоумении, с которым он задается, есть духовное, внутреннее решение его, которое важнее всякой словесной формулы.

В этом гневном вопросе осуждение черствости, себялюбия, не имеющего границ стяжательства, в этом гневном вопросе презрение широкой и человеческой природы к жадному накопительству, к не знающему меры обжорству.

В этом вопросе — воспоминание о страшной поре 1941 и 1942 года, когда немцы шарили в наших орловских, курских деревнях, врываются в шахтерские домики в Донбассе, резали у красноармейской вдовы корову, забирали полотенце у старухи, шарили в подполье, совали в свои чемоданы домотканый белорусский холст, дегевенское украинское рядно, обедали наших сирот, потрошили улей у деда пасечника, уволакивали печные горшки.

В этом простом и наивном вопросе горькое и суровое осуждение народа. Зачем пошли они на нас? Чего им нужно было?

Значит, не оттого, что пришел им край, не с голодухи, не от злой нужды, а от жадности своей, от обжорства, от завидующих глаз хотели захватить они богатства наших тучных полей, огромных лесов, наши руды и уголь, наши заводы, фабрики, драгоценности нашего искусства.

Тысячи тысяч бойцов-победителей, находящихся сейчас в Германии, глядя на бытовой уклад немецкого города и деревни поняли некоторые истоки немецкого напыщенного бахвальства, германского безжалостного презрения к Востоку, к славянским народам.

Культ личного удобства, посыпанных песком дорожек, уюта, добротных предметов, мебели, посуды; культ «муниципальной» цивилизации — вещь не столь скверная. Но немцы вообразили все это непременно признаком высшего человеческого типа. Немцы вообразили, что пышный и разнообразный ассортимент бытовой цивилизации есть непреодолимое доказательство их преимущества над многими, если не всеми народами земли. В этом бытовом самодовольстве в какой-то мере заключены истоки самоуверенной и наглой формулы «Deutschland, Deutschland über alles!»

Наши красноармейцы поняли, откуда бралась у немцев та чудовищная грубость, та сверхчеловеческая заносчивость, то невиданное среди равных друг другу от века людей презрение, которые проявлялись в немецко-фашистской армии во времена ее хозяйничанья в наших деревнях, городах, рабочих поселках. Солдаты фашизма полагали: ежели деревенская дорога не асфальтирована и ежели в деревенском доме нет больших стальных часов и умопомрачительного набора кастрюлек и вышитых подушечек, то обитатели этого дома принадлежат к низшей расе.

Они не знали, что духовная мощь народов, мудрый разум, величие сердца, способность к подвигам духа и высокому орлиному полету мысли совершенно не эквивалентны километражу асфальтированных дорог, наличию вышитых ковриков, никелированных кастрюлек, хрустальных вазочек и расшитых занавесочек.

Когда жестокий, заносчивый враг вторгся в пределы нашей родины, когда окровавленный нож был занесен над самым святым, что есть у каждого человека, неисчислимые силы поднялись на страшную битву за свободу и независимость советских народов.

Могучие силы человечности и самоотверженности объединили миллионы людей. Народный гений выдвинул тысячи сверкающих талантов, проявивших себя на полях сражений и в изумительных созданиях нашей всепобедившей военной техники. Наши маршалы, наши генералы, наши ученые, наши великолепные инженеры — плоть от плоти, кровь от крови трудового народа, сыновья трудовых матерей.

В сказочно короткие сроки талантиливый и трудолюбивый народ создал величайшую в мире, совершеннейшую артиллерию, создал танковые армии, лавину стальных крепостей, перед которой дрогнули панцирные дивизии противника, народ поднял в воздух множество воздушных армий, тысячи и десятки тысяч самых современных истребителей, штурмовиков, легких и тяжелых бомбардировщиков.

В этой войне во всю ширь и во всю глубину проявили себя неизмеримые богатства народного духа, эта война была поистине народной, в ней билось сердце народа, в ней жила его прекрасная душа, в ней творил и мыслил народный гений.

Тысяча тысяч наших красноармейцев, находящихся сейчас в побежденной Германии, подвели в душе своей последний итог борьбе Советского Союза с фашистской империей, тысячи тысяч людей укрепились в своей вере в то, что правда и добро побеждают, что дело свободы, дело добра и человечности торжествует над силами мрака, рабства и человеконенавистничества.

Мир увидел, как жестоко просчитались в своем кичливом, заносчивом и презрительном отношении к народам Советского Союза фашистские главарь и все те, кто покорным и согласным стадом шли за ними.

Но не нужно думать, что наши люди ходят сейчас по Германии с чванливым презрением, отвергая и ненавидя все, что видят. Наши люди отлично понимают, что фашизм существовал в Германии двенадцать лет, а немецкий народ живет тысячелетия. Наши люди не отвергают, не презирают то, что идет от разумного трудолюбия, от старой высокой и истинной культуры немецкого народа. Здесь есть много такого, чему полезно поучиться нашему технику, инженеру, агроному, химику, устройствам коммунального благополучия. Мы не чванливы, хотя мы победители в величайшей войне всех человеческих времен. Чванливы были немцы, те, что оказались побежденными в этой начатой ими войне.

Сегодня они каются.

Тысячи немцев говорят о своей ненависти к нацизму и Гитлеру, говорят о том, что они всегда сочувствовали идеям демократии, всегда ненавидели и осуждали войну, что лишь безжалостный гестаповский террор мешал им вслух проповедывать идеи революционной демократии. Тысячи немцев говорят о том, что по приходе Гитлера к власти они были социал-демократами, либо коммунистами, и лишь террор Гимmlера, погубивший сотни тысяч людей Германии, цвет ее прогрессивной революционной интеллигенции, основные кадры революционного пролетариата, лишь этот террор заставил их замолчать, хотя в душе они оставались противниками нацизма.

Бесспорно, что такие люди были и есть в Германии, бесспорно и то, что их немало. В этом, конечно, нельзя сомневаться. Но ведь верить настоящему можно лишь словам, подтвержденным делом. Надо глубоко

и внимательно разбираться: верить или не верить словам данного человека.

Мне хочется рассказать о случае, где слова были подтверждены делом. С группой товарищей поехали мы осмотреть политическую тюрьму, где гестапо содержало полторы тысячи заключенных. Тюрьма эта находилась в лесу, в нескольких десятках километров на запад от Берлина. Внезапный прорыв наших танков помешал гестаповцам осуществить подготовленное убийство заключенных. Тюремщики бежали, и полторы тысячи политзаключенных, люди различных национальностей, граждане многих европейских стран, благословляя Красную Армию, обрели свободу. Ворота этой тюрьмы сокрушили русские танкисты. Камеры опустели, лишь в тюремной больнице осталось несколько десятков французов, чехов, бельгийцев, сербов, тяжко больных, уже не могущих передвигаться. Дни большинства из них были сочтены. Эти умирающие люди избрали своим старостой немецкого коммуниста Клюге. Клюге провел в тюрьме двенадцать лет. Худой высокий человек с землисто-серым лицом, ослепший на оба глаза, с грудью, животом, руками, покрытыми страшными глубокими рубцами, следами чудовищных пыток и избиений. Опираясь на плечо мальчика-сироты, Клюге медленно ходит по тюремной больнице, среди коек своих умирающих товарищей. От слабости у него часты головокружения, его приходится поддерживать. Его худое лицо с ввалившимися щеками сурово и неподвижно. Но когда ему сказали, что с ним хотят говорить советские офицеры, мертвое лицо слепого улыбнулось. Мы в молчании слушали глухой, сиплый голос, страшный рассказ о двенадцати годах, проведенных в тюрьмах гестапо... В груди этого измученного человека не остыл пламень революционной страсти, глухой голос его вдруг зазвучал сильно и молодо, когда заговорил он о своей революционной борьбе, о своей ненависти к фашизму. И я видел, как дрогнули от волнения губы моего седого спутника, когда Клюге, протянув руки, медленно и ощупью подошел к нему и обнял на прощание. Да, словам такого человека можно верить. Он не отступил от революционного знамени, он вынес на бедных плечах своих ужасный свинцовый груз, не согнулся, не пал духом. Свет великой идеи не померк перед его слепыми глазами в годы, когда черные, ядовитые тучи фашизма клубились в воздухе Германии.

Об этих людях, прошедших через все муки ада и оставшихся верными до конца великому светлomu знамени интернационализма, не должно забывать.

Кто они, эти немногие, оставшиеся в жизни борцы? Кто они, эти верные соратники Тельмана и сотен тысяч погибших мученической смертью немецких революционеров? Последние уцелевшие свидетели революционного прошлого немецкого пролетариата? Или они и не только прошлое, быть может, они посланцы грядущего?

Поистине о многом можно подумать нашим людям, — вышедшим к спокойному течению Эльбы, оглянуться назад на пройденный путь борьбы, посмотреть вокруг себя.

На плечи наших людей легла великая доля ответственности за судьбы мира, спасенного в этой страшной войне подвигом совет-

ского народа и Красной Армии. И об этой ответственности думают парод и армия в тишине, наступающей после громов войны...

В майский вечер было тихо на всем 1-м Белорусском фронте. Сюда не доходило грохотание орудий на севере и на юге, где вели последние ожесточенные бои войска Рокоссовского, Конева, Еременко и Малиновского. Армии маршала Жукова первыми закончили боевую страду.

И вдруг тихий вечерний воздух дрогнул, послышались пулеметные и автоматные очереди, тяжело загрохотали орудия, светящиеся трассы пошли в вечернее ясное небо. Что это? Внезапный налет авиации, прорыв притаившейся группировки противника? Нет!

То армии узнали о безоговорочной капитуляции Германии, то войска салютовали победе. А величественный гул все разрастался, ширился, перекачивался по всему фронту. И вскоре гремело небо от Белого до Черного моря. В эти минуты не хотелось, да и не нужно было ни о чем думать.

В эти минуты только исстрадавшимся человеческим сердцем, сердцем, пережившим безмерно жестокую войну, можно было объять, охватить свершившееся.

Только сердцем, пережившим смертное горе безвозвратных потерь, тоску разлуки, сердцем, оплакавшим бесчисленные могилы, развалины и пепел тысяч городов и сел, сердцем, несущим в себе любовь к павшим братьям и сыновьям, только сердцем, познавшим великую печаль и жаркую, душную ненависть, можно было объять то, что произошло. Миру был возвращен мир. И сотни тысяч, миллионов сердец бились торжеством, наполнялись радостью и слезами в час свершившейся победы.

В. АРДОВ

## ИЛЬФ И ПЕТРОВ

(Воспоминания и мысли)

### I

Еще до войны мне пришлось в редакции «Крокодила» беседовать с начинающим писателем; я рассказал ему об одном литературном приеме, которым пользовался Ильф. Молодой человек почтительно и с некоторым недоверием спросил:

— Вы знали Ильфа?..

Со дня смерти Ильи Арнольдовича Ильфа в то время прошло не более трех лет, но он уже стал легендарной личностью. Это естественно: и вихрь небывалых событий во всем мире, и разительные перемены в существовании нашей страны — все влияет в том смысле, что кажется, будто мы живем, как говорят кинематографисты, «замедленной съемкой» — то есть, с необычайной быстротой. Вот, например, мы часто цитируем и перечитываем Маяковского. А попробуйте представить себе живого Маяковского — посетителя московских редакций и клубов — в сегодняшней Москве. Не выйдет. Он стал вполне легендой, этот наш старший современник. А ведь всего пятнадцать лет отделяет нас от дня его смерти.

Ильф умер восемь лет тому назад. Евгений Петрович Петров погиб в 1942 году. И, несмотря на ничтожность этого срока, чудесный и любимый советский писатель, носивший двойное имя — Ильф и Петров, он тоже делается достоянием литературной истории. Потому-то я решился теперь, в связи с третьей годовщиной авиационной катастрофы, лишившей нас Евгения Петровича Петрова (2 июля), рассказать читателю и о нем, и об его друге.

Написать об Ильфе и Петрове надо для того, чтобы удовлетворить огромный интерес самых широких слоев читателей к двум любимым советским авторам. Ни война, ни истекшие полтора десятка лет — и, повторяю, каких лет, — со дня выхода второго их романа, «Золотой теленок», не охладили симпатий народа к Ильфу и Петрову. Давно не выходили книги наших друзей (кстати: не пора ли их переиздать?). И сегодня в библиотеках существуют длиннейшие очереди на затрепанные экземпляры «Теленка» или «Стульев».

Не только литераторы, а рядовые читатели очень часто, и не только в Москве, настойчиво спрашивают:

— Что вы знаете про Ильфа и Петрова? Какие они были? Как они писали?.. Как бы мне хотелось поглядеть на таких хороших людей!

Судьба подарила меня близким знакомством с обоими нашими юмористами. Мне кажется, воистину наступила пора записать все, что сохранила мне память. Я боюсь утратить что-нибудь из драгоценных для меня воспоминаний о милых ушедших друзьях. И мне очень хотелось бы, чтобы строки, которые я пишу теперь, хоть немного помогли бы читателю представить облик обоих безвременно погибших писателей.

## II

Летом 1923 года В. П. Катаев, с которым я был знаком с год — очень, впрочем, отдаленно,— сказал однажды мне при уличной встрече:

— Познакомьтесь, это — мой брат...

Рядом с Катаевым стоял несколько похожий на него, молодой — очень молодой — человек. Евгению Петровичу тогда было примерно двадцать один год. Он казался неуверенным в себе, как и полагается провинциалу, недавно прибывшему в столицу. Раскосые блестяще черные большие глаза с некоторым недоверием глядели на меня. Петров был юношески худ и, по сравнению со столичным братом, бедно одет. Помнится, ни он, ни я не проявили особого интереса друг к другу. Я поболтал немного с Катаевым, и мы распрощались...

Очевидно, после этого были и еще встречи с Евгением Петровичем, но память их не сохранила. Я вижу Петрова уже секретарем редакции журнала «Красный перец» в 1925 году. Как будто оно вышло так: Валентин Петрович Катаев, который одно время фактически вел «Красный перец», уходя из журнала, оставил за себя брата.

Теперь Петров не производил впечатления растерявшегося провинциала. Наоборот, необыкновенно быстро из новичка он превратился в отличного редакционного организатора. И техникой печатания, и редакционной правкой, и вообще всем укладом журнальной жизни он овладел очень быстро (впоследствии все это пригодилось ему, когда он стал ответственным редактором журнала «Огонек»). Как-то сразу выяснилось, что в журнале он — дома. И писать фельетоны, давать темы для карикатур Петров начал тоже очень скоро. Подписывал он свои вещи либо «гоголевским» псевдонимом: «Иностранец Федоров», либо фамилией, в которую он обратил свое отчество: «Петров». Дело было в том, что по щепетильности своей Евгений Петрович полагал нужным уступить свою настоящую фамилию старшему брату, В. П. Катаеву, который в то время «завоевывал Москву» смелой поступью многообразного и сочного дарования. И вот во избежание того, чтобы появился еще один писатель Катаев, возник сперва фельетонист — писатель Евгений Петрович Петров.

А сам Евгений Петрович писал тогда весело, с огромной комической фантазией, которая со временем так расцвела в его знаменитых романах. Органический, ненадуманый юмор отмечал эти ранние вещи. Фельетоны были традиционного склада — в манере Аверченко, с легким и забавным диалогом, со смешными преувеличениями и натяжками...

Помню, раз я случайно присутствовал при том, как Евгений Петрович сочинял очередной фельетон, сидя за своим столом секретаря редакции. Сочинял он его не один: соавтором был, если не изменяет мне память, журналист А. Козачинский. Но соавтор только смеялся и кивал головою, а придумывал больше Петров, придумывал, веселясь сам, поминутно прыкая от смеха и хватая соавтора за руку. Эта сцена так и стоит у меня перед глазами, — молодой и веселый черноволосый Петров характерным для него движением вытянутой ладони с поднятым большим пальцем в ритм фразам ударяет по столу и смеется, смеется... А соавтор его, хохоча еще громче, повторяет:

— Так и пиши!.. Давай так!.. Пиши!..

И Петров записывает придуманное, на минуту сдвигает черные брови, которые резко идут вверх от переносицы и ломаются под прямым углом, затем опять распускает лицо улыбкой и сообщает придуманное:

— Он идет в сад, а в саду уже сидит за кустами этот агент и уговаривает его опять...

Снова дружный смех и Петрова, и соавтора.

Какой он был тогда весь ясный, беззаботный, веселый! Добрым и смешливым, способным почувствовать юмор во всем — в слове, в жесте, в интонации, в поступке — Петров остался до конца своих дней. Но, конечно, почти физическое ощущение веселья, свойственное молодости, потом исчезло...

### III

В 1928 году журнал «Смехач», издававшийся до того в Ленинграде, был переведен в Москву. И вот на одном из совещаний обновленной редакции «Смехача» среди прочих сотрудников журнала я увидел рядом с Е. П. Петровым, на диване, неизвестного мне молодого человека с темными курчавыми волосами, с необыкновенно чистым, розовым цветом лица, на котором легко возникал румянец у самых скул, слегка выдававшихся; в пенсне, которые сильно уменьшали его большие и выпуклые глаза; с крупным ртом и тяжелым подбородком. С Петровым этот человек общался как-то очень интимно, и часто они говорили между собою вполголоса.

Так как все остальные участники совещания были мне хорошо известны, то я очень скоро с бесцеремонностью, свойственной таким сборищам в юмористических изданиях, спросил прямо у человека в пенсне:

— А вы кто такой?

Молодой человек покраснел, обнаруживая свою застенчивость (которая так и осталась у него на всю жизнь). А ответил за него Е. П. Петров:

— Это — Ильф. Разве вы незнакомы?

— Нет...

По фамилии я, кажется, знал Ильфа, читал в журналах кое-что, подписанное им. А самого его не встречал, потому что Ильф тогда работал в газете «Гудок», а я был далек от этой редакции. Знакомство, впрочем, состоялось очень легко. Ильф тоже немного слышал

обо мне и даже смотрел (вместе с Петровым) в Московском театре сатиры пьесу «Статья 114-я», написанную Л. В. Никулиным и мною.

А в это время «Двенадцать стульев» уже были написаны. Вот чем и объяснялось взаимное тяготение на совещании обоих писателей. Но я еще не знал о существовании романа. Известно, что он был напечатан не в «толстом» журнале, а в сравнительно более легкомысленном иллюстрированном ежемесячнике — «30 дней». И критика начисто замолчала «Двенадцать стульев».

Но читатели приняли эту вещь с восторгом. Успех был огромный и, что называется, молниеносный. Пересказывали наиболее эффектные места романа и выражения: «людоедка Эллочка», «голый инженер», «поэт Гаврила», «спасение утопающих есть дело самих утопающих» и т. д. Именно от рядовых читателей узнал я о существовании «Двенадцати стульев». Добыл комплект «Тридцати дней» и прочитал запоем, с огромным наслаждением.

А между тем в «Правде», в политической статье, одобрительно процитировали «Двенадцать стульев». Подпочвенный, так сказать, успех обратился в явное признание. Журнал «Огонек» заказал авторам повесть и начал печатать таковую. Это была «Светлая личность».

Повесть была написана что называется «с лету», но смешного и злого в ней было много. Припоминаю, например, изречение некоего начальника, выведенного в этой вещи:

— Воленс-неволенс, я вас уволенс!..

Там еще высмеивалось увлечение колоннами в архитектуре. Изображен был дом, состоящий из одних только колонн разных стилей. Люди блуждали в этом колониолесу и аукались. А уборной в доме не было...

Может быть, стоит повесть сейчас переиздать. А уж в полном собрании сочинений наших друзей без нее обойтись никак нельзя.

#### IV

С начала 1929 года стал выходить вместо «Смехача» сатирический журнал «Чудак». В этом журнале возникло нечто вроде неофициальной рабочей коллегии: писатель Борис Левин, погибший в финскую войну в 1940 году, стал ответственным секретарем журнала; на мою долю выпал театральный отдел, который носил озорное название — «Деньги обратно!» Евгений Петров заведывал мелким материальном — анекдотами, темами для рисунков, эпиграммами и прочим таким. Это было очень трудоемкое дело, и Евгений Петрович проявил в нем все свое трудолюбие, усидчивость, умение организовывать и обрабатывать рукописи, Ильф вел отдел литературных рецензий и часто обрабатывал фактический материал.

Вообще говоря, обработка смешных или подлежащих осмеянию фактов, поступающих в редакцию сатирических журналов, считается работой второго, что ли, сорта. Ее часто поручают второстепенным сотрудникам. Но у Ильфа оно было иначе. Он вкладывал в это дело весь свой талант, острое ощущение действительности, всю изобретательность зрелого мастера. И действительно, заметки, вышедшие из-под

его пера, были на редкость удачны. Перечитайте комплект «Чудака», и вы сразу отличите его руку в этих анонимных тридцатистрочных фельетонах. Под пером у Ильфа выросло и значение комментируемого факта, и самый текст комментариев поражал богатством фантазии, глубиной мысли, несмотря на шуточный тон, и проникновением в социальную суть дела.

Помимо описанной выше работы, вся четверка аккуратно поставляла в «Чудак» фельетоны и рассказы. Здесь родился ехидный псевдоним Ильфа и Петрова — Ф. Толстоевский. Эта подпись значилась под превосходным циклом новелл из жизни придуманного Ильфом и Петровым города Колоколамска. Часть этих рассказов воспроизведена в одной из книг Ильфа и Петрова. Но далеко не все. И, кажется, нигде не повторялся очаровательный план города Колоколамска. Снабженное удивительно смешным рисунком художника подробное описание улиц и площадей города вызывало гомерический смех у читателей. Это был точный удар по идиотизму мещанской жизни.

Впоследствии, когда несколько вещей из «Чудака» перекочевали, как я говорил, в томик рассказов Ильфа и Петрова, в «Литературную газету» поступило письмо некоего сердитого читателя: он обвинял соавторов в краже произведений писателя Толстоевского.

Были в «Чудак» еще и сказки какой-то советизированной Шехерезады, были отличные театральные и кинорецензии Ильфа и Петрова — они подписывались «Дон-Бузилио»...

Вспоминаются частые заседания в «Чудак». Мы очень добросовестно обсуждали весь материал в очередной номер. Горячился и добродушно смеялся Петров. Ильф был скупее на одобрение, и если, увлекаемые смешливым настроением, все мы острили уже для себя, а не для «пользы дела», так сказать, то Илья Арнольдович хмурился и говорил сердито (вот так и слышу эту его фразу):

— Кончится этот «пир остроумия»?..

И мы умолкали, понимая, что Ильф прав, не за тем мы здесь собрались, чтобы веселить друг друга.

## V

Совместная работа в «Чудак» очень сблизила меня с обоими друзьями. Часто заходил я и к Е. П. Петрову в его квартиру в Кропоткинском переулке, — эта квартира довольно точно описана в «Золотом теленке» под названием «Вороньей слободки». Такое название Евгений Петрович сперва дал своему жилищу, а потом уже перенес в роман. Была в действительной «вороньей слободке» в Кропоткинском и «ничья бабушка», что боялась электричества и освещала свою каморку керосином, и «трудящийся востока — бывший грузинский князь», и многие другие персонажи, описанные в «Теленке».

Бывал я и в Соимоновском проезде, где жил Ильф, в светлой комнате на шестом этаже. Из окон его далеко внизу видна была площадка строительства Дворца Советов. Потом посещал я и квартиры обоих в Доме писателей в Нащекинском переулке (ул. Фурманова).

И неоднократно я заставал их во время писания. Сперва это был

«Золотой теленок», потом фельетоны для «Правды», сценарии и другие работы. Кое-какие литературные поделки для журналов мне приходилось делать и совместно с Ильфом и Петровым.

Очень часто люди спрашивали и самих писателей, и их друзей, как это Ильф с Петровым работали вдвоем?

Ильф обычно говаривал:

— Два вопроса я слышу ежедневно по нескольку раз, и они приводят меня в бешенство. Это: во-первых, как я пишу вдвоем с Женей, и во-вторых — почему у меня черные губы...

А у Ильи Арнольдовича было родимое пятно на нижней губе.

Известна шутка, которой Ильф и Петров ответили на вопрос о работе вдвоем:

— Так и пишем. Один сторожит рукописи, а другой бегаёт по редакциям.

А на самом деле — могу засвидетельствовать — писали они воистину вдвоем, и самым трудоемким способом. Технически процесс писания осуществлял Петров. Обычно он сидел за столом и красивым ровным почерком наносил строчку за строчкой, оставляя очень узкие промежутки между строчек. Казалось, ничего нельзя поместить в эти промежутки. Но Евгений Петрович умудрялся, если надо, вписать туда ещё две строки поправок или дополнений. И такие дополнения внесены опять-таки ясными и разборчивыми буквами.

Ильф в это время либо сидит в глубоком мягком кресле, либо ходит по комнате, машинально покручивая жесткий свой хохолок над лбом...

Каждый из соавторов имел неограниченное право вето: ни одно слово, ни одна фраза (не говоря уже о ходе сюжета или характере изложения данной части произведения) не будут написаны, пока оба не согласятся с этим словом, с этой фразой. Часто такие разногласия вызывают яростные споры, крик (особенно со стороны пылкого Евгения Петровича). Но зато уж то, что написано, — это словно литая деталь металлического узора, до того все сделано, закончено и со стороны формы, и со стороны мысли... Другой раз отбрасываются пять, десять вариантов. Два-три часа работы дают только несколько строчек. А сколько времени уходило на создание плана, на придумывание всех свойств каждого действующего лица!.. Но соавторы не меняют своего метода.

Щепетильная добросовестность Ильфа и Петрова сказывалась и на количестве материала, который вмещали они в свои книги. Однажды Евгений Петрович сказал мне:

— В наши два романа мы вогнали столько наблюдений, мыслей и выдумки, просто людей, что этого хватило бы ещё на десять книг. Такие уж мы неэкономные...

И это истинная правда. Книги наших друзей сделаны без «воды» и без так называемых «слабых мест» — то есть авторских отписок от всего того, что данному писателю неизвестно толком, или что ему не по силам.

Повторяю: я много раз присутствовал при самом процессе их работы. Войдешь, бывало, в комнату, где они пишут: Ильф первым повернет голову в твою сторону, затем положит вставку, и Петров

улыбнется своею удивительно ласковой улыбкой, а Ильф уже говорит:

— Женя, прочитайте последний кусок этому смешливому человеку... (Они до самой смерти Ильфа были на «вы» и называли друг друга в глаза и за глаза «Женя» и «Иля».)

А Петров сам уже рад проверить свежесочиненные строки на дружеском слушателе. И вот он читает, а Ильф беззвучно шепчет, несколько забегая вперед против Петрова, слова отрывка (такое знание собственного текста — вещь очень редкая у прозаиков; оно говорит о том, что пишется все трудно и с любовью).

Так слышал я многие куски «Золотого теленка» задолго до его окончания. Слышал и некоторые варианты, не вошедшие в окончательный текст романа. Помню, например, иное начало книги. В нем описывалась огромная лужа на вокзальной площади в городе Арбатове, куда прибывает Остап Бендер. Через эту лужу, говорилось там, приезжих переносит человек, обративший себя в профессионального рикшу при луже. И Бендер садится к нему на спину, а миновав лужу, он опускается на землю со словами:

— За неимением передней площадки, схожу с задней!..

Потом было написано то начало о пешеходах, которое и вошло в роман. И сделали это Ильф и Петров потому, что сочли банальным говорить о лужах в провинциальном городишке. Не правда ли — характерный пример литературной взыскательности?..

Иной раз Евгений Петрович или Илья Арнольдович говорили мне после такой пробы на мне новых строк:

— Посидите, нам надо закончить это место...

И вот я сижу и слушаю, как творят оба друга...

## VI

Когда после смерти Ильфа Петров не захотел работать в тех жанрах, в которых он писал со своим покойным соавтором (естественное следствие глубокой травмы, какой был для Петрова уход из жизни такого друга), то возник этакий сплетенный шопоток о том, что, дескать, все дело было в Ильфе, а Петров являлся чем-то вроде его секретаря...

Я считаю своим долгом засвидетельствовать, что эти разговоры абсолютно неверны. В совместных трудах Ильфа и Петрова Евгений Петрович является автором не менее, а может быть и более половины всего сочиненного ими. Петров был человеком щедрой фантазии. Юмор у него был великолепен. Ниже я вернусь еще ко всем свойствам этой богато одаренной личности, но здесь мне важно отметить, что Ильф в его лице имел соавтора именно такого, который ему был нужен. Нужен, может быть, в большей степени, чем он сам — Петрову.

Когда Ильф был жив, мне доводилось слышать и такую концепцию: Петров, дескать, все придумывает, а Ильф только контролирует — принимает или отвергает. Опять клевета!

Да, действительно, чувство литературного вкуса у Ильфа было развито удивительно. Он был очень взыскателен и требователен. Но этим не исчерпывались все способности Ильфа! Ильф был тоже вы-

думщик и фантазер, и эрудит,— причем отнюдь не литературный начетчик, а человек, много знавший решительно во всех областях жизни.

Оба друга дополняли и умножали, если можно так выразиться, свои дарования в совместных трудах. Примечательно, что Ильф без Петрова, как и Петров без Ильфа, писали хуже, чем Ильф с Петровым. Почему это? Да потому, что Ильфу нехватало непосредственности Петрова, его любви к сочному бытовому юмору, его чувства легкого комического диалога. А Ильф вносил и свой вкус, и свое остроумие, и едкость сатирического анализа.

В. Б. Шкловский точно сформулировал роль обоих писателей в их совместных трудах. Он сказал:

— Если сравнить их с бетоном, то Петров будет гравий, а Ильф — цемент. От соединения полезные свойства возрастают в несколько раз.

Вероятно, и первая их творческая встреча произошла не случайно. Правда, было это в молодости, когда люди легко вступают в дружбу. Но должны же были существовать какие-то нити взаимной симпатии, чтобы люди сразу сели писать не фельетон на трех страничках, а роман в двадцать печатных листов... С годами это содружество обратилось в беспримерную близость. Шутя, Ильф и Петров сами сравнивали себя с Гонкурами. А я утверждаю, что такое сопоставление можно сделать со всею серьезностью. У обоих к середине тридцатых годов развился метод мышления, который можно назвать «методом близнецов»: ежедневно Ильф и Петров проводили вместе по десяти — двенадцати часов и привыкли все мало-мальски значительные мысли сообщать друг другу. Можно себе представить, как обогащало обоих такое общение!.. Петров говорил мне:

— Утром я стараюсь как можно скорее увидеть Илю, чтобы сообщить ему мысли, пришедшие в голову вечером и ночью.

Длительное содружество привело обоих друзей к тому, что у них возникло некое единое мироощущение, единый вкус, единый стиль. Вот, например, последняя их книга — «Одноэтажная Америка». В своем предисловии к «Записным книжкам» Ильфа Петров сообщает, что написана она так: семь глав они писали вместе, двадцать глав писал один Ильф, двадцать глав — один Петров. А швов вы не найдете. Произведение совершенно цельное и по мыслям и по слову... Между тем в «Двенадцати стульях», и даже в «Золотом тельенке», мы, близкие приятели, еще легко угадывали, кем из соавторов что придумано..

Лучше всего меру их дружбы описал Евгений Петрович в предисловии к «Записным книжкам» Ильфа. Рассказывая там о своей ссоре с Ильфом, он говорит:

«Вообще говоря, мы ссорились очень редко, и то по причинам чисто литературным — из-за какого-нибудь оборота речи или эпитета. А тут ссора приключилась ужасная — с криками, ругательствами и страшными обвинениями. То ли мы слишком изнервничались и переутомились, то ли сказалась здесь смертельная болезнь Ильфа, о которой ни он, ни я в то время еще не знали, только ссорились мы долго, часа два. И вдруг, не сговариваясь, мы стали смеяться. Это было странно, дико, невероятно, но мы смеялись... И не каким-нибудь истерическим, визгливым, так называемым чуждым смехом, после которого

надо принимать валерианку, а самым обыкновенным, так называемым здоровым смехом. Потом мы признавались друг другу, что одновременно подумали об одном и том же, — нам нельзя ссориться, это бессмысленно. Ведь мы все равно не можем разойтись. Ведь не может же исчезнуть писатель, проживший десятилетнюю жизнь и сочинивший полдесятка книг, только потому, что его составные части ссорились, как две домашние хозяйки в коммунальной кухне из-за примуса.

И вечер в городе Галлопе, начавшийся так ужасно, окончился задушевным разговором.

Перед глазами у меня и сейчас стоят две фигуры: Ильф сидит где-нибудь на редакционном совещании или в театре, откинувшись на спинку стула, а общительный Петров шепчет ему на ухо что-то пришедшее ему в голову вот сию минуту. Ильф слушает серьезно, даже критически, он закатил зрачки к потолку, но постепенно на лице его возникает улыбка. Вот он засмеялся, оборвал смех и привычной интонацией литературного оценщика сурово произнес:

— Это смешно! (забавная была у него эта манера: без тени улыбки, почти грозно говорить: «Это смешно!»)

И в свою очередь Ильф шепчет на ухо Петрову, развивая и дополняя его находку.

А Петров смеется уже во-всю... Может быть, придуманное здесь завтра войдет в фельетон, в сценарий, в пьесу...

## VII

Очень много Ильф с Петровым ходили гулять. Именно — гулять для того, чтобы думать и разговаривать, медленно отмеривая шаги. Сперва любителем прогулок был Ильф. Но потом он приучил и своего друга. Много раз я видел их идущими, скажем, по Гоголевскому бульвару, как будто бы бездельничающими, а на самом деле занятыми самой серьезной работой — осмысливанием того, что они напишут, и того, что уже написали. У Ильфа и Петрова было огромное чувство ответственности; они неоднократно возвращались в беседах и в мыслях к своим прежним работам, чтобы осудить или одобрить их, взвесить влияние этих произведений, пользу или вред, которые принесены людям нашей страны, тем, что они написали.

Когда Ильф умер, Евгений Петрович не сразу отвык от прогулок по утрам. Он заходил по очереди к иным из своих друзей. Раза два появлялся он и у меня (в то время оба мы жили в доме писателей в Лаврушинском переулке). Он входил нарядный и доброжелательный, как всегда (эпитет «доброжелательный», по-моему, относится к Петрову больше, чем к кому-либо из известных мне людей), и говорил с шутливой сварливостью:

— Нечего, нечего, ленивец, надо гулять. Гулять надо! Гулять!

Или:

— Пачиму вы не гуляете? Пачиму?!

Это было его любимое слово — «пачиму», и произносил его Евгений Петрович именно так, как здесь написано: с неожиданным восточным акцентом.

Мы отправлялись по Лаврушинскому переулку и новому Каменному мосту на Кремлевскую набережную. Москва-река, уже принявшая в себя волжские воды канала, по-весеннему сверкала совсем близко у серого парапета набережной. С елей бульварчика, тянущегося вдоль стены Кремля, еще не сняты были проволочные оттяжки, но видно было, что недавно пересаженные сюда деревья хорошо прижились возле семи башен южной стороны Кремля. По новому гудрону мостовой неслись машины. Беленький катерок тарактел, вынырнув из-под Каменного моста. По обоим мостам, Большому Каменному и Москворецкому, двигались трамваи и автобусы, в обе стороны сновали машины.

Петров несколько раз останавливался, с одобрением рассматривал пейзаж столицы и повторял, указывая неизменным бамбуковым костыликом на детали пейзажа:

— Нет, Москва, принимает настоящий столичный вид. Такой кусочек, знаете, не в каждой столице найдешь. Американцы дорого дали бы, чтобы иметь, скажем, в Вашингтоне небольшой такой Кремль... А? Что вы скажете?..

Мы проходили Москворецким мостом на Большую Ордынку, которая в один месяц из тихого уголка старого Замоскворечья превратилась в магистраль автотранспорта и пропускала уже тогда по пятидесяти машин в минуту. Сворачивали в бывший Ордынский тупик — его расширили, и обратился тупик в переулок, ведущий к будущей площади на углу Лаврушинского и Большого Толмачевского переулков...

В общем Евгений Петрович вел себя почти как на прогулках с Ильфом. С той, впрочем, разницей, что его не очень занимали мои мысли и рассуждения. Он говорил и рассуждал сам. А я и не старался завладеть беседой. Я понимал, что могу заменить Ильфа только как пешеход, и охотно предоставлял в распоряжение моего осиротевшего друга свои ноги (для прогулки) и свои уши (для его мыслей вслух).

После «Золотого теленка», как известно, Ильф и Петров написали (совместно с Катаевым) пьесу «Под куполом цирка». Из этой пьесы был сделан впоследствии сценарий фильма «Цирк». Пьеса была превосходная и с огромным успехом шла в театре «Музик-холл» в Москве и в Ленинграде. Фильм тоже нравился зрителям, но так как режиссер, Г. В. Александров изменил сценарий, все трое авторов потребовали, чтобы их имена не упоминались во вступительных титрах картины.

Друзья писали фельетоны сперва в «Литературной газете», под псевдонимом «Холодный философ» (ироническое осмысление выражения «холодный сапожник»). Потом Ильф и Петров были приглашены в качестве фельетонистов в «Правду», где, разумеется, выступали под своими именами.

Фельетоны Ильфа и Петрова всегда имели одно свойство: в то дело, которого касался фельетон, веселыми и задорными строками этого фельетона непременно вносилась как бы струя чистого воздуха. Вот описывают они обстановку или факты — литературы, или хозяйственной жизни, или школы, или издательства... И кажется, будто вошел очень умный, насмешливый, но добрый и — порядочный, безукоризненно порядочный человек. Вошел и открыл окно. И вместе с ним ворвался в помещение свежий воздух, чистый воздух нашей родины...

Что же за люди были Ильф и Петров? Точнее: что за человек был Ильф, и что за человек был Петров? Они так неразрывно связаны в представлении читателей, что нужно, может быть, известное напряжение, чтобы говорить порознь о каждом из писателей. Кстати, вот еще одно доказательство тому, до какой степени два друга уплотнились в единую «обойму», если употребить изобретенный ими же иронический в применении к людям термин.

Как-то в присутствии общих друзей я вырезал ножницами из черной бумаги сперва профиль Ильфа, а затем профиль Петрова (насколько помню, оригиналы этих изображений при создании силуэтов не присутствовали). Должен честно сказать, что мастерство мое в области изобразительных искусств не слишком велико. Тем не менее я рискнул показать всей компании сперва один профиль, потом другой. Силуэты были снисходительно одобрены. Наши приятели процедили:

— Да, пожалуй... Это Женя... А это — Илья Арнольдович... Тоже немного похоже...

Но вот я положил оба изображения на лист белой бумаги носами друг к другу, и произошло чудо: сходство выросло необыкновенно. Послышались восклицания удивления:

— Смотрите, как похоже!

— Да, да, это они!

— Послушайте, вы еще раз вырезали силуэты?.. Ведь это не те, да?..

Когда Ильф и Петров вернулись, они много смеялись над этим портретным феноменом.

## IX

Итак, каков же был Илья Арнольдович Ильф? В апреле 1938 года, в первую годовщину смерти Ильфа, в клубе Московского университета, на вечере, посвященном памяти покойного, я произнес речь, полный текст которой воспроизвожу здесь, потому что речь эта сочинялась под свежим еще впечатлением от живого общения с живым Ильфом. Да и сегодня я думаю так, как написал семь лет тому назад, 13 апреля 1938 года мною было сказано:

— Я думаю, что наша обязанность — обязанность людей, которые долгое время шли рядом с Ильфом, составляли среду его знакомых и друзей, заключается не только в том, чтобы говорить об Ильфе как о писателе. Ильфа писателя все здесь присутствующие знают, вероятно, достаточно хорошо, как знают его не только в нашей стране, а и во многих других странах, куда проникли книги Ильфа и Петрова, переведенные на пятнадцать языков.

Я думаю, вы вправе спросить у нас: каким был Ильф в жизни? Потому что этот вопрос можно сформулировать еще и так: каким же надо быть, чтобы писать такие же хорошие книги, как писал Ильф?

Я возьму на себя смелость попытаться рассказать вам о некоторых черточках характера нашего покойного друга. Это даже

не зарисовка, это именно несколько черточек к тому будущему портрету, который должен быть написан в ближайшие же годы.

Первое впечатление от Ильфа было всегда таким: перед вами очень умный человек. Очень умный. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что сила человеческого разума сказывается не только в правильных реакциях, правильных суждениях, которыми он откликается на те или другие явления. Важно еще в таких случаях ощущение, что вот — человек, который оценивает эти явления, он понимает еще и то, что мы бы назвали пропорцией явлений. То есть — этому человеку ясно, каково место данного явления в ряду других событий, фактов, обстановке. Грубо говоря, мы знаем людей, которые толкуют о каком-нибудь прыще столько же времени и с таким же пафосом, как о солнечной системе. В обоих случаях эти люди излагают бесспорные истины, но совершенно ясно, что пропорция явлений в подобных случаях утрачена начисто. Бывают люди, которые не делают таких резких ошибок в масштабах, однако не всегда рассчитывают свой пыл и глубину своего анализа с объектом этого анализа. У Ильи Арнольдовича Ильфа этот умственный глазомер был безошибочен. О чем бы он ни говорил, доставляла радость прежде всего эта восхитительная пропорциональность его суждений — да простится мне этот импровизированный термин. Ум Ильфа можно уподобить прожектору, который освещает точно и далеко все объекты, на какие попадает струя его света. Один наш общий друг сказал, что Ильф — очень взрослый, совсем взрослый человек. В этом странном определении много правды. Конечно, все мы не дети, но редко кто в такой мере умеет руководствоваться не капризами, желаниями, предвзятыми антипатиями и симпатиями, а постигать сразу все и на всю глубину, как умел это Ильф...

Надо еще сказать, что Ильф читал, вероятно, почти все то время, которое он проводил в бодрствующем состоянии. Он проглатывал книги по самым различным вопросам политическим, экономическим, историческим и, разумеется, — беллетристики. Он читал ежедневно десять — пятнадцать газет. Ему было интересно решительно все, что происходило и происходит на земном шаре.

Помню, однажды Ильф поделился со мною впечатлениями от только что прочитанной им книги. Эта книга была — телеграфный код царской армии. Ильф показал мне этот толстый том, который, вероятно, любому другому товарищу показался бы самой скучной книгой на свете. А вот Ильф прочитал ее, и когда говорил о ней, то начинало казаться, что эта книга действительно очень интересная, потому что те мысли, которые этот код вызвал у Ильфа, были очень интересны и разнообразны.

Лев Никулин в своих воспоминаниях об Ильфе отмечает, что, встретив случайно Ильфа, он сказал ему о своей работе над пьесой «Порт-Артур». Ильф немедленно предложил Никулину ряд исторических материалов по русско-японской войне, которые он, Ильф, изучал для собственного удовольствия.

Ильф раздобыл издание, воспроизводившее все документы казачьярского дела корпуса жандармов о смерти Льва Толстого.

И эта книга его очень заинтересовала. Кстати, текст одной из пугающе бессмысленных телеграмм, которыми засыпает в «Золотом теленке» Остап Бендер миллионера Корейко, взят из книги о смерти Толстого. «Графиня изменившимся лицом бежит пруду» — это фраза из телеграфной корреспонденции журналиста, присутствовавшего в Останове в ноябре 1910 года, в Петербург, в редакцию газеты.

Память у Ильфа была чудовищная. Он запоминал решительно все: имена собственные, технические сведения, стихи и огромные куски прозы. И все это было со временем использовано в его обширном литературном хозяйстве.

Повторяю: Ильфу было интересно все, что происходит на свете и, особенно, у нас в стране. Он думал и высказывал суждения о таком количестве фактов и явлений, что широта его интересов буквально поражала.

Я очень боюсь, что сказанное может у кого-нибудь создать представление, будто Илья Ильф был ходячей палатой мер и весов, будто он бесстрастно оценивал все, что ни попадет на пути. Меньше всего Ильф был похож на тех людей, которые, решив, что они являются обладателями мощного мозгового аппарата, стараются, как орех, раскалывать любой предложенный им вопрос. У Ильфа все это происходило от огромной любознательности гражданина и писателя. Как писатель, Ильф должен был решить для себя основные вопросы своего отношения к нашей действительности и к миру вообще. У нас существует много литераторов, которые просто стараются увильнуть от более или менее принципиальных проблем, полагая, что рассказы и повестушки можно писать и без этого. Но, повторяю, Ильф был человек в высокой степени принципиальный. Он не мог не осмысливать основных категорий действительности. Поэтому все то, что Ильф говорил о самых разнообразных вещах и явлениях, всегда можно было воссоединить в какую-то цельную систему. Ибо высказывания укладывались в его, Ильфа, миропонимание, а миропонимание это известно всем читателям его книг, потому что у Ильфа не было двух миропониманий: одного для себя, а другого — для читателей и цензуры — в книгах. Книги Ильфа, помимо всего прочего, еще и книги очень честного писателя.

Моя попытка анализировать живого Ильфа, Ильфа-мыслителя, страдает тем недостатком, что я, естественно, принужден элементы, из которых складывался этот огромный и своеобразный интеллект, — представлять вам по одному. Я все время принужден вносить поправки и оговариваться, что дело обстоит сложнее, чем вам может показаться. Вот и сейчас надо сказать, что я еще не успел упомянуть о неотъемлемом свойстве Ильфа: об его юморе. Между тем это вносит очень существенную поправку к тому, что сказано до сих пор. В самом деле, юмор никогда не оставлял Ильфа. Излишне оценивать здесь эту сторону интеллекта покойного писателя. Кто же из присутствующих не знает Ильфа с этой стороны? Нужно только сказать, что у Ильфа был юмор, который мы, литераторы, называем органическим юмором. Речь идет вот о чем. Если заниматься юмористикой профессионально, то очень скоро можно установить, что существуют готовые рецепты рассмешить аудиторию.

Но обычно осуществление этих рецептов лежит вне развития мысли автора. Это, так сказать, изюм, который не слишком разборчивый литератор втыкает в тесто своих произведений. И есть другой путь — путь творческий, когда комическое возникает из самой сути материала и авторских суждений, или порождается фантазией автора в меру ее творческой силы. Это юмор органический. Он создает неожиданное, новое, он не только смешит, но и служит для оценки тех явлений, которые затрагивает. Ильф обладал могучим органическим юмором, который никогда не покидал его. Мне кажется, что Ильф придумывал смешное не для книг, а для себя, и только часть того, что он придумывал, попадала в книги. Впрочем, об этом ниже.

Мне хочется сейчас, чтобы вы поняли, какую прелесть придавал юмор Ильфа всему тому, что он говорил. Например, то, чего полностью лишены читатели книг Ильфа и Петрова, это юмор интонации, который существует только в живой речи. Выше я говорил о пропорции явлений. Представляете себе, каким выразительным средством для установления значительности того или другого объекта служила у Ильфа его интонация. Затем ирония, которая сказывается не только в словах, но иногда в одной лишь интонации, в выражении лица, в улыбке. Потом так называемый «юмор нелепости», из которого очень немного просочилось в книги Ильфа. Пищу для юмора нелепостей отчасти дают те несоответствия, которые юморист находит в жизни. Это, например, знаменитая фраза: «Командовать парадом буду я». Теперь она стала чем-то вроде поговорки, а мы помним, как Ильф выхватил ее из серьезного контекста официальных документов и долгое время веселился сам, повторяя эту фразу. Затем «командовать парадом буду я» было написано в «Золотом теленке». Смеяться стали читатели.

Да и вообще остроумие, которым блистает в обоих романах Остап Бендер, ведь это же в значительной части остроумие самого Ильфа. Кто же не встречал в жизни комбинаторов, повторяющих характер Бендера? Но что-то у этих стяжателей и ловкачей мы не наблюдаем такого развитого чувства юмора. Ильф и Петров щедро одарили своего героя обаятельным свойством, принадлежащим лично им.

Существуют нелепости, которые создает сам юморист, но за ними скрываются те или другие реальности действительной жизни. Скажем, изречение из того же «Золотого теленка»: «По случаю учета щницелей, столовая закрыта навсегда». За этой, казалось бы, бессмысленной фразой скрывается констатация того факта, что у нас обслуживание населения кое-где еще очень плохое, — то есть у нас рады любому поводу отвадить посетителей. Не так ли? Припоминаю, кстати сказать, как Ильф придумал эту фразу и долго повторял ее, веселясь и сердясь в одну и то же время на нерадивых нарпитовцев.

Я нарочно остановился на юморе нелепостей, потому что мне кажется, что первая часть этих моих заметок может в излишне сухом виде представить Ильфа.

С тех пор как написаны были эти строки и вышли в свет «За-

писные книжки» Ильфа (издательство «Советский писатель», 1939), эти записки могут хотя бы отчасти дать читателю представление об остроумии Ильфа. Как известно, «Записные книжки» имели огромный успех. В последний раз читатели упивались изящным остроумием покойного писателя. Должен сказать, что многие из этих записей я слышал от самого Ильи Арнольдовича. То есть записи эти — не отвлеченные, приспособленные к литературе. Ильф думал и говорил вот так изящно, так остроумно, как писал.

Мне довелось в жизни встречать много людей, которые умели овладеть вниманием общества, даже самого взыскательного. Обладал этим даром и Илья Арнольдович. Он был очень своеобразным, неповторимым рассказчиком. Его обороты речи, его мимика — очень сдержанная, его интонации — тонкие и неназойливые — прежде всего указывали, что перед вами мастер литературы. Чеканная даже в устной импровизации фраза, подмеченные или блестяще выдуманные детали, точная идея всего рассказа — все радовало слушателей. Самые обыденные факты в его устах обретали глубину и остроту. Знакомые ценили беседу с Ильфом, как законченное произведение искусства.

Год тому назад<sup>1</sup> мы писали в некрологе:

«Ильф был прекрасным мастером литературного дела и не только тем, что написано им и Евгением Петровичем Петровым, обогатил он нашу литературу. Работа Ильфа в газете и сатирических журналах, его литературные фельетоны подтягивали, заставляли и других писать лучше, добросовестней, заостреннее».

Теперь, через год после того как Ильфа не стало, мы можем сказать, что его влияние не совсем прекратилось. Те из нас, кому было дано близко знать Ильфа, и по сей день, встречаясь, часто говорят: об этом человеке или в таких случаях Ильф говорил такто. Многие из нас помнят талантливые, умные и остроумные суждения Ильфа, и суждения эти живы сегодня, и не только живы, но и борются за то же самое, за что боролся при жизни Ильф.

В Художественном театре существует такой метод творческой работы: если артист хочет, чтобы его работа протекала на известном уровне, он мысленно сажает в зрительный зал того человека, вкусу которого доверяет. Очень часто артисты Художественного театра играют так, чтобы это понравилось Станиславскому, хотя Станиславского в партере и нет. Должен сказать, что лично я очень часто, пытаясь оценить то, что я пишу, ставлю себе вопрос: а как бы отнесся к этой вещи Илья Арнольдович?

Думаю, товарищи, что я не один призываю этого арбитра, которого нет среди нас.

## Х

Много и, я бы сказал, «профессионально» гуляя, Ильф часто навещал при этих своих прогулках друзей и знакомых. Иной раз днем возникала в дверях моей комнаты его высокая фигура. Ильф произносил какое-

<sup>1</sup> Напоминаем: Это говорилось в апреле 1938 г.—В. Ар.

валась быстро: Илья Арнольдович всегда был переполнен впечатлениями, мыслями, только что придуманными меткими определениями злободневных фактов, шутками...

Вот он одною фразой убил плохой кинофильм, только что появившийся на экране. Вот пересказал содержание заинтересовавшей его статьи в таком издании, которое никогда и не попадет тебе в руки, — а он, Ильф, откуда-то раздобыл это издание и отыскал в нем интересные сведения. Вот Илья Арнольдович осмеял кого-нибудь из знакомых за суетность, тщеславие, недобросовестность в творчестве (что греха таить — виновных в таких грехах немало в нашей среде). Вот изобразил в лицах наблюдаемую им сценку в автобусе или на улице. Глядишь, а уж целый кружок слушателей собрался вокруг гостя.

Но Ильф не только рассказчик. Он умеет и любит слушать. Только боже вас упаси пересказывать ему пошлое «общее мнение», старый анекдот, заступаться за посредственность. В споре Ильф непобедим. Тремя репликами, сделанными с ходу, так, словно они сочинялись для собрания афоризмов, Ильф убьет оппонента, да еще и рассердится и уйдет опять гулять, потому что пустословия и беседы «не на уровне» он терпеть не мог...

У себя же дома, в комнате (потом квартире), убранной с удивительным вкусом, Ильф — немного другой. Окружающие его редкие безделушки — пузатый фарфоровый будда, фаянсовые львы с геральдическими щитами, кустарные красные лошадки, даже расположение мебели и посуды — все показывает, что вы — в обители художника. Да оно так и есть. Мария Николаевна Ильф отлично пишет маслом; и сам Илья Арнольдович любит и хорошо разбирается в живописи, скульптуре, графике. Недаром же у Ильфа два брата профессиональные художники. Один из них, Александр, еще до революции эмигрировал в Париж и жил там. Второй брат, Михаил Арнольдович, обитал в Москве. Он печатал свои рисунки в московских изданиях, подписывая их псевдонимом «Маф». Михаил Арнольдович скончался в 1942 году в Ташкенте. Был этот человек, я бы сказал, сознательным неудачником. Больше всего на свете ценил покой, неискателен был до стоицизма. А талант имел несомненный и отличался удивительным вкусом. Его рисунки и высказывания о художниках, картинах, статуях постоянно давали примеры поразительного чутья в области искусства. У меня и по сей день пейзаж работы Мафа, исполненный тушью, — основной лес. Вообще говоря, после Шишкина всем известно, как надо изображать сосновые леса. Но Маф избежал эпитонства. Его пейзаж по-своему передает избитую эту тему.

Михаил Арнольдович часто бывал у брата. Во многом он напоминал Ильфа. Только был еще добрее в поступках и еще злее на словах. Он был старше Ильи Арнольдовича года на два и за красноватый оттенок каштановых его волос назывался у нас «рыжий Миша» — в глаза и за глаза.

Вот придешь, бывало, к Ильфу. Илья Арнольдович как-то помягче выглядит на широкой тахте, окруженный добрыми тремя десятками книг, журналов и газет. Он очень учтиво и ласково приветствует гостей. Если у вас есть деловые вопросы или вы хотите посоветоваться

о чем-нибудь с Ильфом, можете быть уверены, что немедленно получите ответы, которые представят вам все дело с новой для вас стороны. Советы могут оказаться неожиданными, но всегда они очень умны, предлагают вам общественно самое пристойное и бескомпромиссное решение. Если дело у вас серьезное, стоящее, — будьте покойны: Ильф поможет вам и личным вмешательством, и хлопотать станет за вас. А коли вы пришли с пустяками, — не обессудьте: Ильф тут же вы смеет и вашу затею и вас самих...

...Уже завязался разговор, блистательный ильфовский разговор. Илья Арнольдович пересел с тахты на стул подле стола. Он оживился, поблескивают стекла пенсне, раздается его смех — немного неожиданный и резкий. Часто он разговаривает, рисуя какие-то лица в беретах, верблюдов с двадцатью горбами (которых отмечал в своих воспоминаниях Е. П. Петров), пароходики...

Вам надо уходить, но невозможно оторваться от того, что рассказывает вам этот человек, невозможно покинуть уютную комнату, где вас принимают без всякого чванства, но очень уважительно...

Мне хочется привести здесь надписи на экземплярах «Золотого теленка» и «Двенадцати стульев», которые сделал Ильф, даря мне эти книги. Очень уж эти скупые строки в духе его остроумия. К сожалению, за войну у меня пропали наиболее ценные книги, в том числе и два романа наших друзей. Но я наизусть помню ильфовские надписи. На «Теленке»:

«Виктору Ефимовичу Ардову. Видом на жительство служить не может. И. Ильф».

На «Двенадцати стульях» Ильф перечеркнул печатный текст, гласящий, что роман посвящен Валентину Петровичу Катаеву, и приписал ниже:

«Теперь это уже не Катаеву посвящается, а вам, дорогой Витя. Только Катаеву вы ничего не говорите, пусть он думает, что все осталось попрежнему».

Был у меня еще томик рассказов наших друзей, на котором дарственную надпись сделал от имени обоих авторов Петров. Затем он подписался сам и подделал тут же подпись Ильфа (очень удачно), сказавши при сем:

— В совершении этого подлога у меня уже есть порядочный стаж. Неправда ли чистая работка?..

## XI

Самая внешность Ильфа соответствовала его творчеству. Это был высокий, подтянутый человек. Ильф был элегантен — да простится мне такое непринятое у нас слово! Однажды, когда он зашел ко мне днем, погода хмурилась, явно надвигался дождь. Ильфу надо было уходить, и он попросил у меня одолжить ему пальто. Когда я увидел из окна удалявшуюся фигуру Ильфа в моем пальто, я подумал:

— Чорт возьми, какое нарядное у меня пальто!..

Но дело-то было, конечно, не в пальто.

Еще один штрих: Ильф всегда признавал себя лентяем. По существу это значило, что ему гораздо интереснее было знакомиться с

миром, с людьми, с их делами, чем писать об этом. где надо к тому же забывать: Ильф очень много лет был болен и постоянно жаловался на недомогание. Врачи проморгали тяжелый его недуг..

Но вот в тридцатом, кажется, году Ильфа заинтересовал фотоаппарат «лейка» — тогда они были внове. В сущности, фотографирование было для Ильфа еще одним способом поглубже залезать в делишки этой планеты. Ильф стал страстным фотографом-любителем. Он снимал с утра до ночи: своих родных, друзей, знакомых, сослуживцев по издательству, просто прохожих...

Евгений Петров с комической грустью жаловался:

— У меня было на сберкнижке восемьсот рублей и был чудный соавтор. А теперь Илья увлекся фотографией. Я одолжил ему мои восемьсот рублей на покупку фотоаппарата. И что же? Нет у меня больше ни денег, ни соавтора... Мой бывший соавтор только снимает, проявляет и печатает. Печатает, проявляет и снимает...

Чем же кончилась эта история с фотографированием? К 1935 году, когда друзья поехали в Америку, Ильф снимал уже настолько хорошо, что его снимки с «расширенными», как говорят в редакциях, подписями составили целую повесть в журнале «Огонек»: это был первый вариант знаменитой ныне «Одноэтажной Америки».

## ХII

Евгений Петрович Петров. Много раз говорилось, что «Ильф с Петровым были люди совсем разные». Так оно и было. Но имелось несколько черт, которые роднили обоих друзей задолго до того, как постоянное творческое общение выработало в них разительное сходство умственных привычек и воззрений. О чем я говорю? Прежде всего об ощущении, которое вызывали Ильф и Петров и вместе, и порознь. Это было ощущение того, что перед вами удивительно чистые люди. Чистые и в общественном, и в личном и в литературном отношениях. И как приятно было наблюдать у знаменитых уже писателей душевную чистоту, о которой я говорю. Слава их не испортила. Ни Ильф, ни Петров не кривили душой ни по мелкому поводу, ни из-за крупной выгоды или сомнительных соображений тактичности.

Затем было в обоих соавторах качество, которого нехватает очень и очень многим нашим литераторам. Это — эрудиция, широкая образованность, в том числе — безукоризненное знакомство с мировой и отечественной литературой. Простите за трюизм, но, ей-богу же, нельзя стать совсем хорошим писателем, не зная литературы. А у нас еще встречаются товарищи, которые надеются кое-как «проскочить» в этом вопросе.

Евгений Петрович любил и знал литературу, как читатель и как писатель. Это особый вид отношения к книгам: он основан на том, что человек понимает, запоминает и даже чувствует (простите за иррациональный термин), как построено любое данное произведение искусства. Речь идет не о критическом разборе прочитанного. Ближе всего такое постижение литературы к тому, как талантливый печник или столяр сразу постигает, как должно быть устроено внутри создание его со-товарища по ремеслу, куда ведет невидимый дымоход в печи, или где искать секретный замок шкафа.

Петров мгновенно угадывал замысел любого произведения, его схему, построение фраз и стиль, сюжетные ходы. Скажу, что подобное повышенное чувство сюжета — очень редкое среди литераторов и очень ценное.

Когда Евгений Петров принимался фантазировать вслух, сочиняя что-нибудь, мне это доставляло чистое наслаждение: до того он легко, и ясно, и весело, и до колликов смешно в комических местах выдумывал вот тут же, у вас на глазах... Какая у него была хватка! Какое чувство специфики жанров. То, что Петров предлагает для комедии, сразу пахнет рампой; фельетонный его замысел уже в момент рождения задорен и ясен в своем иноказании; поворот фабулы в рассказе — оригинален, должен непременно увлечь читателя. Как умел он налету подхватить робко, иногда невнятно предложенный ему зародыш чужой мысли и мгновенно выявить все ее положительные и отрицательные возможности. Как-то сразу эта мысль бывала вскрыта до самой ее сердцевины, и приподнята на высокую литературную трибуну, и применена на пяти-шести отличных сюжетных схемах — таких схемах, что вам тут же делалось ясно: именно эти сюжеты уместнее всего в данном случае.

Вам кажется, что решение уже найдено. А Петров все еще фантазирует, с невероятной расточительностью, какую может себе позволить только настоящий талант, отбрасывает все, что уже придумал, и придумывает еще и еще, ищет самое трудное из решений: когда решено все точно в границах надлежащего жанра, но само решение и свежо, и неожиданно, и умно, и звучит безукоризненно верно с общественной, идейной стороны...

Так и вижу перед собою Евгения Петровича, в цветной сорочке с галстуком (пиджак аккуратно повешен на стул), когда он своим заразительным, веселым смехом предваряет рассказ о том, что пришло ему в голову, и громко возглашает:

— Товарищи, это надо так...

И после паузы, означающей двоечье, еще несвязно по синтаксису, но абсолютно четко по мысли, увлекательно и забавно, опять-таки вперемежку со смехом, выливается все, что пришло ему в голову... А Ильф (очевидно, нельзя все-таки писать о них раздельно), Ильф сейчас же скроил строгое лицо, дабы не уступать, если придуманное недостаточно свежо или не отвечает его изощренному вкусу. Но уже через минуту, сперва против воли, засмеялся и Ильф, потом он включился в поток выдумки своего друга, и вот уже перебивает Петрова:

— Погодите, Женя, тут надо сообщить вот что...

Петров приумолк, послушал Ильфа и, мгновенно поняв, чего желает соавтор, опять заглушает своим сангвиническим баритоном более сдержанного товарища:

— Верно! А потом еще так...

Чудесные часы вдохновения! Как они радовали даже случайных свидетелей.

### XIII

Евгений Петров с первого же взгляда воспринимался, как человек несомненного и яркого таланта.

Если в Ильфе при знакомстве поражал мощный аналитический

ум — рацию, то в Петрове вы прежде всего ощущали гармоничную, одаренную личность. Человеческое его обаяние было решительно незаурядным. Он вызывал улыбку симпатии при первом взгляде на его доброе и ласковое лицо. Тонкий нос с горбинкой. Маленький красивый рот. Азиатские темные глаза и прямые темные волосы, которые образовывали на середине лба аккуратный треугольничек, спускавшийся чуть ниже общей линии растительности... Очевидно, у Катаевых был предок монгол (Валентин Петрович мне говорил, что их отец происходит из-за Урала).

Все в Евгении Петровиче казалось милым — даже манера предупредительно обращать в сторону говорящего правое ухо (на левое ухо он плохо слышал), даже манера чуть наклонять вперед корпус и, шагая как-то по-своему, выбрасывать на ходу ноги. А вежлив и любезен Петров был, что называется, изнутри — от любви к людям, от желания делать добро. Евгений Петрович, как я уже говорил, был необыкновенно принципиален, и того, что ему казалось дурным, не принимал и не прощал никогда.

Петров был, так же как и Ильф, щепетилен в выборе одежды и вещей вокруг себя. Был у него солидный, отнюдь не франтовской, вкус, а его кабинет всегда представлял собою зрелище опрятности и порядка, в чем ему всегда очень помогала жена, Валентина Леонтьевна. Брак их состоялся на моей памяти. Помнится, Валентина Леонтьевна, выходя замуж в 1928 году, была еще очень молода, и пришлось, кажется, обмануть регистраторшу в загсе, прибавив невесте возраст. Петров оказался превосходным семьянином, и брак был вообще крайне удачным. Здесь тоже сказались принципиальная чистота Евгения Петровича. В конце двадцатых годов еще существовали остатки богемных анархических нравов в литературной среде. Петров часто с насмешкой или с негодованием говорил о разводах и супружеских изменах, которые возникали в то время.

Петров обладал значительной долей вспыльчивости. Чуть услышит о чем-нибудь неблагоприятном поступке, о бездушном отношении к людям, о чьей-нибудь нечестности, — сразу же покраснеет, разгорячится; и тут его уже не остановить, пока не выскажет всего, что его возмутило.

И не думайте в эти минуты приводить ему резоны в оправдание или извинение виновного, которого он, может быть, и в глаза не видел, Петров еще круче наклонит голову направо, наотмашь рубит воздух выпрямленную кистью правой руки с торчащим кверху большим пальцем и упрямо повторяет:

— Ни-нет! Н-ни-нет!.. Пусть он будет бедный, но честный!

Это была уже обобщенная, подвергшаяся самоиронии, формула Петрова: он требовал от людей честности, нестяжательности, человеколюбия, демократичности. Петров глубоко понимал и чувствовал основы нашего строя именно с этой их стороны. И сам показывал примеры того, каким должен быть советский человек.

В 1939 году Евгений Петрович стал кандидатом ВКП(б). Большую роль в этом сыграл наш общий друг, писатель Борис Михайлович Левин, сам член партии с 1917 года, человек удивительной человеческой и общественной чистоты. Борис Левин заслуживает, чтобы о нем поговорить особо. И я считаю, что литературные друзья покой-

ного виновны в том неуместном молчании, которое существует вот уже пять лет после смерти Б. Левина. Исчезли из нашего читательского обихода превосходные книги Левина — «Жили два товарища» и «Юноша». В особенности незаслуженно забыт «Юноша», ибо, помимо того, что этот роман написан очень хорошо, помимо того, что его идея живет и сегодня, — в книге есть настоящие находки в описании некоторых персонажей. Когда вышел «Юноша», он очень раздражил всю шайку врагов народа, группировавшуюся в то время вокруг пресловутого проходимца Леопольда Авербаха. Именно Авербаха вывел Левин в действующем лице романа — Фитингофе. Портрет был настолько похож, что клеветы Авербаха не только открыто нападали на Левина, а еще пытались шантажировать его анонимными письмами и телефонными звонками.

#### XIV

Петров очень увлекался идеей «сервиса». Как известно, это английское слово обозначает всяческое обслуживание, всяческую помощь, облегчение любого дела, любой человеческой потребности. Вот эта сторона сервиса очень увлекала Петрова. Грубость официанта в столовой, канцелярская волокита, отсутствие качественного товара — все это буквально ранило Евгения Петровича, и он мог вмешаться в уличный скандал, потратить несколько часов в качестве свидетеля в милиции, чтобы добиться торжества того, что он признавал справедливым. Были у Евгения Петровича на счету и победы над отдельными работниками милиции, которые, по его мнению, грубо обошлись с кем-нибудь.

Мне рассказывали, как однажды, в номере Европейской гостиницы в Ленинграде, разыгралась такая сцена. В Европейской гостинице, одной из лучших в городе, жили Ильф и Петров. Оба писателя были дома, и у них находился представитель киностудии. Шел серьезный творческий разговор.

В номер постучали. В ответ на приглашение войти раскрылась дверь, и вошла «комиссия» из трех или четырех товарищей, с папками подмышкой и списками в руках. Товарищи были все солидные, директорского типа, и производили они какую-то особую инвентаризацию утвари, принадлежавшей гостинице. Небрежно поздоровавшись с постояльцами и их гостем, комиссия стала ощупывать и вслух оценивать люстры, картины, статуэтки.

Ильф и гость из киностудии растерялись и умолкли. А Петров бурно покраснел, поглядел на членов комиссии и вдруг громко спросил:

— Почему вы это делаете, когда мы здесь? Кто вам разрешил?!

Один из инвентаризаторов начал солидным тоном:

— Товарищ, мы из дирекции гостиницы, и я вас попрошу...

Но Петров ударил кулаком по столу и ка-ак рявкнет:

— Я вас попрошу убраться отсюда немедленно! Вон! Этакое хамство! Здесь живут люди, а не склад инвентаря. Сию же минуту вон!

Очевидно, это было очень убедительно: комиссия, поджав хвосты, убралась со своими папками и списками.

Позволю себе привести еще один случай из жизни наших друзей, связанный с гостиничными нравами. Рассказывал мне об этом сам Ильф.

Летом 1935 года друзья приехали в Киев. В гостинице «Континенталь» они оставили свой багаж, договорились, что вечером получат номер, а сами отправились кататься по Днепру на пароходе. На пароходе они встретили директора одного из московских театров, который стал жаловаться Ильфу и Петрову на порядки гостиницы «Континенталь». Почти ежедневно его, театрального директора, либо перебрасывают из номера в номер, либо вовсе выселяют, чтобы угодить более знатным приезжающим. Оба друга всегда близко к сердцу принимали подобные факты. Они обещали москвичу заступиться за него.

Когда же все трое — оба писателя и театральный директор — явились в гостиницу, директора подозвали к окошечку администратора. Послушав, что сообщил ему администратор, горемычный москвич закричал нашим друзьям:

— Вы слышите?.. Мне говорят: «Приехали известные писатели Ильф и Петров — значит, вам придется освободить номер...»

Должен сказать, что и Петрова, и Ильфа очень огорчил этот случай.

## XV

Мне уже привелось выше сказать мельком о трудолюбии Петрова. Да, он был отличным работником литературы. Взяв на себя едва ли не всю литературно-техническую сторону их деятельности с Ильфом, Петров успевал еще изучать английский язык (в Англии и Америке он служил Ильфу переводчиком), учился играть на рояле (об этом ниже) и очень много читал по специальным предметам. А предметы эти были такие: мировая политика, мировое хозяйство, военное дело, авиация и мемуары, относящиеся к этим областям. Петров сам называл себя «пикейным жилетом», — напомним, что в «Золотом тельнке» таким прозвищем награждены пожилые одесситы, щеголяющие в старомодных жилетах из пике и любящие высказываться о политике: «Бриан — это голова!» или «Чемберлен — это голова...»

Шутки шутками, а между тем у знакомых уже образовалась привычка: если надо справиться о чем-нибудь по этим вопросам, либо найти относящееся к ним издание, — лучше всего обратиться к Евгению Петровичу.

Вечером, поработав днем с Ильфом или побывав с ним же в редакциях и издательствах, Евгений Петрович с удовольствием сидит на диване под зеркалом в своей маленькой столовой, украшенной яркими акварелями работы Давида Бурлюка (этот друг юности Маяковского давно уже живет в Америке; там он и подарил Петрову свои забавные и талантливые пейзажи, выполненные в манере экспрессионизма). Петров потчует гостя водкой или чаем, попросивши его пересесть так, чтобы самому очутиться к гостю правым ухом. Гостеприимный хозяин, он настойчив в угощении и внимательно переспрашивает, что именно интересно узнать гостю. Но скоро темперамент и собственный острый интерес к очередной политической теме увлекает Петрова. Он начинает горячий монолог о политике или роли авиации в будущей войне. Иск бы его не остановить, если бы Евгений Петрович не спохватился

сам. Обозвав себя, в который раз, «пикейным жилетом», Петров просит извинения, что нащумел, и беседа переходит на другие темы — литературные дела, юмор, злобу дня... А между тем мысли и сведения, сообщенные вам в монологе хозяина, остались в вашем сознании...

Евгений Петрович был очень музыкален. Он даже мечтал стать композитором, и в тридцатых годах, в сущности уже знаменитым писателем, стал учиться играть на рояле. Потом для чего-то купил фисгармонию. Боже, сколько тем для шуток дала нам эта фисгармония. Но Евгений Петрович мужественно играл упражнения и на рояле, и на фисгармонии.

Он был завсегдаем в опере, отлично разбирался в качестве певцов и композиторов; бывая за границей, непременно навещал музыкальные театры. Так он часто рассказывал о Миланском театре La Scala. Не помню, успел ли Петров где-нибудь в своих произведениях рассказать о беседе своей с шефом клаци театра La Scala. Беседа эта (году в 27-м) касалась знаменитого анекдота о том, как Шаляпин, гастролируя в La Scala, спустил с лестницы шефа клаци, который явился к нему предлагать свои услуги.

— И вот,— рассказывал Евгений Петрович,— когда я спросил руководителя клакеров, так ли это было,— он мне ответил с улыбкой: «На самом деле, синьоре, было немного иначе. Я показал синьору Шаляпину весь прейскурант наших услуг: аплодисменты при выходе артиста — 5 лир, аплодисменты по окончании арии — 10 лир, вызовы на бис — 15 лир, овации на уход — 20 лир, овация в конце спектакля — 100 лир и так далее. Синьор Шаляпин сказал мне: «Все это я беру, но я хочу знать, сколько будет стоить, чтобы вы распространили в городе слух, будто я вас спустил с лестницы?» Я спросил триста лир. Мы поторговались, и Шаляпин оплатил мне и этот вид рекламы...»

Петров был настоящим меломаном. Посещал концерты, собрал отличную коллекцию граммофонных пластинок с записью симфонических произведений. Ильф обыкновенно говорил, когда дело касалось музыкального оформления их общих пьес и сценариев:

— Идите к Жене. Это по его части...

Не случайно Петров — автор двух лучших наших музыкальных фильмов: «Антон Иванович сердится» и «Музыкальная история». Подбор мелодий в обеих картинах говорит о том, что автор хорошо учитывал свойства выбранных им вещей. А, например, комический эпизод с «композитором» в фильме «Антон Иванович сердится», — помните: когда этот забулдыга-композитор Керосинов пытается продать немолодой артистке песенку, написанную им на чуть-чуть измененный мотив «По улице ходила большая крокодила»?.. У меня эта сценка сразу же вызвала в памяти рассказ Ильфа о том, как в Киеве, в 1935, кажется, году, на кинофабрике Петрову и Ильфу предложили послушать музыку, сочиненную неким местным маэстро к комедийному сценарию наших друзей «Однажды летом» (в нем снимался Игорь Ильинский). Ильф рассказал, как в кабинет директора кинофабрики вошел пышно одетый молодой человек и сыграл несколько пристойных, с его, Ильфа, точки зрения, мелодий. Директоры остались довольны. И вдруг поднялся Петров. Лицо его было сурово, как при монологах его о необходимости всем быть бедными, но честными. Он подошел к роялю и спросил композитора:

— Молодой человек, вы слышали оперетту «Сильва»?

— Нет... кажется, не слышал,— промямлил, бледнея, молодой человек.

— А по-моему, слышали! — заявил Петров и, севши за клавиатуру, проиграл один из музыкальных номеров «Сильвы».

— Позвольте! Вы это нам сейчас играли! — вскричали директор и Ильф, обратясь к композитору. Но его уже не было в комнате...

Был, впрочем, у Петрова один свой исполнительский музыкальный номер, который мы все очень любили. Дело в том, что Евгений Петрович, обладая отличным слухом, легко подбирал на фортепьяно любую мелодию. И музыкальная память у него была прекрасная, он знал наизусть множество мелодий. Номер заключался в том, что Евгений Петрович играл один за другим до сорока мотивов наиболее популярных песенок и танцев за последние полстолетия. Начиналось это попури полькой «Китаянка», возникшей, если не ошибаюсь, в 1900 году, во время боксерского восстания в Китае, затем шел вальс «На сопках Манчжурии» — сверстник русско-японской войны, потом были исполняемы различные танцы и куплеты девятисотых и десятых годов, песенки эпохи первой мировой войны, мелодии революции, гражданской войны и нэпа и так далее, до самых последних новинок. Впечатление получалось потрясающее. Расположенные в хронологическом порядке и собранные в таком количестве, эти мелодии обращались в какое-то подобие истории. Известно ведь, что музыка, как и запахи, ярче всего напоминают вам ваши ощущения, которые сопутствовали когда-то данному аромату или данной мелодии. И вот, отраженный в непривлекательной бытовой музыке, вставал перед слушателями наш век — наши детство и юность, быт страны и даже события исторического характера.

## XVI

Но вернемся к совместной биографии Ильфа и Петрова. Интересно было наблюдать, как примерно с 1930 года, прибывала к ним слава. Слава именно прибывала, словно вода в половодье: конечно, этот процесс нельзя проследить глазом, как движение секундной стрелки, но стоит только отлучиться и вернуться вновь, — глядишь, опять поднялся уровень. Так было и с нашими юмористами.

«Двенадцать стульев» были приняты читателями отлично. Но, как оно водится, не сразу имена авторов запали в память публике. Второй роман укрепил и поднял интерес и восхищение авторами, которые успели за три года подарить литературе две такие хорошие книги. Критики спешили наверстать упущенное: хвалили, объясняли, почему это хорошо, почему так надо было писать... Репортеры охотно сообщали о планах, намерениях, выступлениях Ильфа и Петрова. В печати стали часто вспоминать, цитировать и «Двенадцать стульев», и «Золотой теленок», и острые фельетоны наших друзей. Цитировали не только печатно публицисты, иностранные обозреватели, — а повторяли изустно, в быту, повторяли повседневно всякого звания люди:

— А помните у Ильфа и Петрова в «Робинзоне» сказано?..

— Это еще в «Двенадцати стульях» есть...

— Он у нас, знаете, чистый Остап Бендер.

Вдруг выяснилось, что у каждого есть знакомый, удивительно похожий на Остапа Бендера. Впоследствии и критики признали, что Бендер есть обобщенный сатирический тип, достойный стать рядом с Чичиковым, Расплюевым или Молчалиным...

Впрочем, и с «Золотым тельцом» дело было не совсем гладко. Опубликование романа затягивалось. Помню огорчение, даже растерянность обоих авторов. Но за «Теленка» заступился Горький. Ильф рассказывал мне, как однажды, на вечере у самого Горького, великий писатель спросил Ильфа и Петрова, что слышно с их новой книгой. Узнав о запрещении, Алексей Максимович тут же, принял меры. Влияние Алексея Максимовича было достаточно мощным, чтобы изменить судьбу книги.

«Золотой тельнок» был впервые напечатан в журнале «30 дней».

Году в тридцать втором я слышал от многих, в том числе и от Ильфа с Петровым, будто в Издательство художественной литературы явилась старушка-переводчица, которая сказала:

— Ну, вот, вы всегда говорите, что по краткой аннотации вам не ясно, стоит ли переводить на русский язык всю книгу. Я, значит, перевела прекрасный французский роман. И рукопись со мною, можете прямо набирать... Роман называется «Douze chaises». По-русски — «Двадцать стульев».

Бедная старушка «переперла» французский перевод романа Ильфа и Петрова обратно... — на русский язык! Когда ей рассказали, как она промахнулась, старуха горевала чуть не год.

Наших авторов с некоторых пор стали узнавать на улицах. К ним обращались люди в беде и просто «просители». Их приглашали на различные приемы и совещания. Романы их переводились на иностранные языки. Но сами друзья оставались все прежними: так же шумел Петров, узнав о дурном поступке, так же клеймил Ильфу пошляков и казнокрадов своими неповторимыми по едкому остроумию высказываниями. Разве только немного менее застенчивым стал Илья Арнольдович, пообтершись на бесчисленных конференциях, совещаниях, раутах, да еще, пожалуй, Петров начал быстрее отличать среди посетителей воистину обиженных людей от склочников и «арапов».

В 1935 году осенью друзья уехали в Америку. Вернулись они почти через год, причем, как известно, тяжелое путешествие через североамериканский материк на автомобиле вызвало у Ильфа обострение глевающей в нем болезни.

— По возвращении из-за границы Ильф и Петров принялись нащупывать для себя новый жанр: они стали отходить от чистой юмористики к беллетристическим вещам, в которых описывались реальные люди. Первым шагом на этом пути стал рассказ «Тоня».

Каковы причины этого изменения литературного жанра? Причин несколько.

Прежде всего прошла молодость обоих соавторов (Ильфу было тридцать девять лет, Петрову — тридцать четыре года.) Им не хотелось уже с резвостью прежних лет обращать в условные (хотя и очень талантливые) маски всех людей, которых они встречали в жизни. Тянуло к большей психологической глубине. Обычный для них литературный метод не давал к тому возможностей. У меня есть основания

предполагать, что в известной степени такое стремление к психологической углубленности обусловлено было влиянием на Ильфа поэта М. Д. Вольпина, с которым он очень дружил.

Политическая и человеческая чуткость наших писателей говорила им, что впредь будут в какой-то мере оскорбительны для наших — читателей литературные произведения из жизни советских людей уже не периода восстановления, а эпохи реконструкции, в каких-то произведениях все герои были бы резко смешными, а большинство их — отрицательными. И Петров и Ильф уже поговаривали с приятелями на эту тему. Надо было искать новые краски, новые приемы, новые подходы к людям, а не повторять прежние романы. Друзья мужественно и, как всегда затрачивая огромный труд, со всею своей честностью стали менять свои творческие приемы. И, действительно, в «Тоне» мы видим совсем иное отношение авторов к своим героям. Ильф и Петров даже отложили самое мощное и испытанное свое оружие: смех. Рассказ (или повесть) «Тоня» — это вещь, я бы сказал, акварельно-беллетристическая. Краски чуть-чуть приглушены авторами, во всем ощущается интонация улыбки и любовного сочувствия героям рассказа. Для Ильфа и Петрова «Тоня» была первым опытом в этом плане. Еще много предстояло им преодолеть на этом пути, и, конечно, наши друзья добились бы интереснейших результатов, но судьба распорядилась иначе.

## XVII

Болезнь Ильфа не утихала, хотя лечился он очень исправно. Одно время он даже пополнил. Со свойственным ему юмором, Ильф подходил иногда к зеркалу и с интонацией, пародирующей такого самодовольного пошляка, говорил:

— Кто этот толстенький господичек?..

Над своей болезнью он вообще старался шутить.

Две грустные фразы в «Записных книжках» — вот, пожалуй, и все в смысле прямых жалоб Ильфа на свое несчастье. Даже тоску, вызванную смертельным недугом, Илья Арнольдович, из присущей ему застенчивости, высказывал в шутках. Помнится, за два месяца до смерти, сидя в ресторане, он взял в руки бутылку шипучего вина и грустно сострил:

— Шампанское марки «Ich sterbe»...

Как известно, эта немецкая фраза была последними словами А. П. Чехова, скончавшегося от туберкулеза на немецком курорте.

А Ильф отлично понимал, что он болен тяжело. Но никто не ждал такой быстрой развязки. Очевидно, врачи снова проглядели. В апреле 1937 года Ильф внезапно слег, хотя за сутки до того чувствовал себя неплохо.

Последние разы я виделся с Ильфом на общем собрании московских писателей 2 и 4 апреля. Происходило оно в большой аудитории Политехнического музея.

Ильф аккуратно посещал аудиторию, шутил с друзьями.

Кажется, 3 апреля Евгений Петров получил слово на писательском собрании. Он вышел на трибуну и по рукописи прочитал блестящую речь — фельетон, написанный им, разумеется, совместно с Иль-

фом. Потом этот фельетон был напечатан. Касался он вопросов чистоты литературных нравов, повышения литературного уровня наших книг. В этой речи возник забавный, но имеющий большой смысл, лозунг: «Писатель должен писать». Говорилось там еще и о том, что, например, Лев Толстой не просил аванса у мамы Наташи Ростовской перед тем, как описать ее в своем романе; а иные из наших литераторов берут авансы даже в хозяйственных организациях, а потом не пишут ничего и авансов не возвращают... Были в речи и другие острые места.

Аудитория неоднократно прерывала Петрова смехом и аплодисментами. Ильф сидел рядом со мной, в одном из последних рядов, высоко и далеко от эстрады. Он очень покраснел и закрыл глаза. Оно всегда так бывало. Мы даже шутили: Петров читает общую рукопись, а Ильф пьет воду в президиуме и покашливает, будто у него, а не у Петрова пересыхает в горле от чтения.

Седьмого апреля мне сказали, что Ильф слег. Восьмого я пришел навестить его, но жена его, Мария Николаевна, уже не пустила меня к нему. А тринадцатого, поздно вечером, когда я был в клубе мастеров искусств, ко мне подошел артист В. Я. Хенкин и тревожно спросил:

— Говорят, что Ильф умер... Ты знаешь об этом?

Телефона у Ильфа на новой его квартире, в Лаврушинском переулке, еще не было. Я позвонил в «Правду». Не помню, кто из сотрудников грустно ответил мне:

— К сожалению, это так...

Я поехал в Лаврушинский. Было уже часа два ночи. В квартире Ильфа собрались друзья. Лицо покойного было строго и сдержанно, — таким оно бывало часто и при жизни. Одет он был в коричневый пиджак и светлые брюки. Похоже было, будто Илья Арнольдович прилег отдохнуть...

Скоро мы поднялись на этаж выше, к Евгению Петровичу, и там провели остаток ночи... В столовой у Петрова лежали вдоль стены еще не развязанные пачки свежих экземпляров только что вышедшей «Одноэтажной Америки». Евгений Петрович развязал одну из пачек и одарял всех пришедших к нему. Было как-то особенно уместно и трогательно получить книгу из рук Петрова в память Ильфа в эту ночь.

Утро застало нас всех в столовой у Евгения Петровича. Восемилетний сын его Петя проснулся и вошел в комнату. Мальчик ничуть не удивился, увидев гостей в неурочное время. И Евгений Петрович грустно сказал:

— Хорошая штука — детство... Петя и не спрашивает даже, почему люди собрались. Для него мир надежное помещение.

Днем мы собрались у Льва Славина и писали некролог, который потом был от имени Союза советских писателей помещен в газетах. Помнится, когда этот некролог зачитывался на заседании комиссии по похоронам в стенах Союза писателей, кто-то сказал с невеселой улыбкой, обращаясь к Петрову:

— Впечатление такое, Евгений Петрович, будто и вас хоронят... Петров ответил спокойно и тихо:

— И хороните. Это — и мои похороны...

Через несколько месяцев после смерти Ильфа выяснилось, как велика была травма, нанесенная Евгению Петровичу. В те дни, пока продолжались вскрытие покойного (обнаружившее гигантские каверны в легких), прощание огромного количества москвичей с телом Ильфа, похороны, — Евгений Петрович вел себя сравнительно спокойно и разумно. Он принимал участие во всех церемониях и деловых заботах, часами сидел в клубе писателей, где лежал прах его друга. Только необычная для Петрова рассеянность да ушедший в себя печальный взгляд говорили нам о том, как глубоко горе Евгения Петровича.

Гроб с телом Ильфа два или три дня был установлен для прощания в большом зале клуба писателей. Друзья много времени провели у гроба. Почетные караулы менялись с десяти утра до двенадцати ночи. И кто только не стоял у праха замечательного писателя!.. Но самое дорогое было в том, что толпы людей с улицы — читателей — непрерывно проходили мимо усопшего. Наконец наступил день похорон. Огромное стечение народа на улице Воровского встретило вынос тела. Произошел короткий митинг. А. А. Фадеев произнес речь. Процессия тронулась по направлению к крематорию.

Вечером несколько человек, не сговариваясь, собрались у Петрова. Среди присутствовавших я помню А. А. Фадеева, Ю. К. Олешу, В. Л. Катаева, Л. И. Славина.

Евгений Петрович опять-таки внешне казался очень спокойным. Он даже тихо посмеивался на редкие шутки гостей. Но видно было, что он подавлен тоскою, которая теперь только, когда отошли все хлопоты, связанные с похоронами, овладевала им сполна. Как оно всегда бывает, горечь утраты час от часу росла в нем... И надо знать доброту Евгения Петровича, чтобы постигнуть, как должна была поразить его смерть друга. Обычное в таких случаях ощущение какой-то мнимой своей вины — не сумел отвратить, не спас, проглядел; сам жив, а его нет! — вот что буквально пожирало осиротевшего Петрова.

## XVIII

Первое время Петров не писал ничего. Потом начал работать, но отнюдь не в тех областях, в которых трудился вдвоем с Ильфом. Конечно, отказ от прежних литературных жанров обуславливался и тем, что еще при жизни Ильфа друзья намеревались изменить творческие приемы. Это надо учесть, когда мы говорим о литературном пути одного Петрова. Петров в какой-то мере, метался, оставшись один, он затевал пьесы-памфлеты, начал роман о будущем времени, писал критические статьи, очерки. Съездил на Дальний Восток и на Камчатку и давал в «Правде» очерки об этой своей поездке.

Как курьез могу сообщить, что после смерти Ильфа Евгений Петрович получил несколько писем от лиц, предлагавших себя в «заместители» покойного его соавтора. Все эти послания были не от профессиональных писателей, а от графоманов или наивных читателей, не представляющих себе толком, что такое литература.

На мой взгляд, Евгений Петрович в значительной мере нашел себя, ставши ответственным редактором журнала «Огонек». Этот наи-

более распространенный в стране еженедельник хирел потому, что, как говорил сам Петров, его прежнее руководство «носило кризис литературных материалов с собой в жилетном кармане». Журнал был вялый, отставал от событий. Когда «Огонек» был доверен Евгению Петровичу, положение резко изменилось. Оказалось, что в Москве вполне достаточно писателей, художников, фотографов, чтобы завалить хорошими материалами даже не один еженедельник. Надо было только уметь привлекать людей, а не смотреть на всякую рукопись, как на коварный подвох редактору.

Петров перекроил по-своему весь «Огонек». Завел множество новых интересных отделов, красивые шрифты, остроумные заголовки, оригинальную верстку. «Огонек» стал пользоваться успехом, за ним гонялись, старались не пропустить номера. Молва повсюду хвалила «Огонек».

Я утверждаю, что деятельность Евгения Петрова в качестве редактора «Огонька» есть творчество. Он вкладывал в журнал всю свою выдумку, всю эрудицию, весь опыт и вкус зрелого, талантливого писателя. А сколько труда поглотило руководство журналом! Петров говорил мне, что он всем руководит сам, ежедневно учит своих помощников, проверяет исполнение, много времени отдает журнальной технике. До Петрова редакторы мирились с крайне медленным течением типографского процесса. «Огонек» опаздывал против событий, происходящих в мире, чуть не на полтора месяца. И нашему другу пришлось выдерживать маленькую войну с издательством для того, чтобы сократить проходные литературного материала по всем инстанциям и агрегатом полиграфии.

Мне случилось навещать редакцию «Огонька», когда там редакторствовал Евгений Петрович. Он громко разговаривал, сидя в своем кабинете, часто вызывал сотрудников, давал им задания. Вообще обстановка в редакции была на редкость приятная и культурная. У нас часто под словом «культурный» подразумевают наличие плевательниц и недавно проведенный ремонт. Нет, я говорю об атмосфере интеллигентности, которая создается высоким образовательным цензом работников и о взаимной деликатности и веселой споркости. Все это свидетельствует о том, что работа данного учреждения выполняется отлично, что это известно всем работающим здесь, это им нравится, и каждый старается поддержать такое положение своим трудом и заинтересованным отношением к делу.

По тому, как обращались сотрудники редакции «Огонька» с Петровым, видно было, что они отлично понимают, насколько поднял их журнал новый редактор. Они и уважали его, слушались его указаний, считая, что все им придуманное будет на пользу делу, и гордились им. Примечательно, что все это можно было постигнуть чуть не в первые полчаса пребывания в редакции.

## XIX

Война дала другое направление трудам Евгения Петровича. С первых дней войны он включился в работу Совинформбюро. Писал и для советской печати, и для зарубежной. Американские читатели постигали,

что происходит в Советском Союзе в первые месяцы войны, из очерков Петрова, печатавшихся в заокеанских газетах. В «Правде», в «Огоньке», «Крокодиле» Евгений Петрович давал свои темпераментные и глубоко патристические фельетоны на военные темы. Кое-что из этого потом было переиздано в брошюре библиотечки «Огонька».

Неизвестно, что писал бы Евгений Петров, не случись война. По всему было видно, что он отходил от тяжелого душевного удара, нанесенного ему смертью Ильфа. Да и «Огонек» требовал уже все меньше и меньше времени от своего редактора: аппарат уже был воспитан им, и теперь журнал выходил при меньших затратах времени самого Петрова. Но война стала фактом, и со всею своей беззаветностью Евгений Петрович отдался идейному вооружению советского народа против фашистских оккупантов.

Мы мало видались с ним в первые месяцы войны. Помнится одна встреча в клубе писателей. В беседе Евгений Петрович больше даже мимикой, чем словами, сумел выказать свое презрение к одному литератору, который обнаружил трусливое желание удраить из Москвы.

Сохранилось у меня и такое воспоминание: четыре часа пополудни, август 1941 года, жаркий день. На площади Пушкина внезапно меня окликают Евгений Петров и Г. Е. Рыклин: они идут вместе с какого-то совещания. Они даже весело оживлены, но и в этом оживлении, как и во всей такой привычной обстановке летнего московского дня, чувствуется напряжение и тревога. Мы двигаемся втроем по площади. Родной наш город как будто все тот же, а между тем сзади нас, в высоком здании «Известий», фугасная бомба пробилла четыре этажа, и часть здания обращена в руины. Прохожих стало меньше. Война, неудачи этих месяцев давят на всех нас, хотя мы не говорим о войне и даже пытаемся шутить.

Мы заговорили тогда о наших семьях, эвакуированных из Москвы. Евгений Петрович сказал, что он послал жене деньги, но мало,—сберкассы и банки в те дни сократили выдачи. И деловым тоном Петров добавляет:

— Я ведь поеду на фронт, меня могут убить. Вот я и наскреб, что мог, и написал Валечке,—это, может быть, последние деньги от мся, пусть экономит.

Впоследствии на фронте мне пришлось говорить с молодым летчиком, совершившим в воздухе «таран». Этот советский юноша на вопрос, почему он решил обрубить своим винтом хвост немцу, ответил мне спокойным голосом, что присяга обязывает его «и самую жизнь отдать» на благо родины, не покидая боевого поста. И тогда я вспомнил Петрова: в его словах о возможности смерти на фронте был этот же неаффекированный покой, что и у летчика. И советский летчик, и советский литератор Петров полагали чем-то само собою разумеющимся необходимость отдать свою жизнь, если она понадобится родной стране. Думается, такое вот ясное и не парадное, а обыденное, что ли, чувство долга есть чисто русская черта.

Петров часто подолгу проводил время на фронтах. Но судьба его берегла сперва. И я думал о том, что вот не последний раз послал он тогда деньги своим в эвакуацию. Все же, дело обернулось иначе.

Следующая встреча с Петровым — конец октября 1941 года. Время

наибольших успехов германской армии: в эти дни немцы заняли Харьков, их дивизии вели яростные атаки на ближних подступах к Москве.

Увиделся мы с Петровым в городе Куйбышеве, куда были эвакуированы некоторые правительственные учреждения, в том числе и Совинформбюро. Я приехал в Куйбышев случайно, спустившись по Волге из Казани, где находился тогда Союз советских писателей СССР.

В тесном зале куйбышевского ресторана Гранд-отель я увидел Евгения Петровича. Передал ему привет от его жены и детей, с которыми видался в Чистополе и Казани. Евгений Петрович был очень нервным и возбужденным, но панических настроений, которые — теперь уже можно сказать об этом — охватили некоторых из самых ретивых любителей мажорного искусства, в нем не было. Он говорил о работе и, как всегда, много писал для Совинформбюро, для радио, для иностранной прессы.

Одет был Евгений Петрович в военную форму. Он носил знаки различия подполковника. И в военном платье был он все такой же: подтянутый, вежливый, аккуратный, доброжелательный.

В это время в Куйбышеве мы, литераторы, ежедневно наводили справки, у кого только можно было, о положении на фронте. И вот 28 октября, откуда-то сверху, из источников действительно авторитетных, просочились к нам устные сообщения, что дела на фронте поправляются. В числе лиц, говоривших мне об этом, был и Евгений Петров. Он очень радовался тому, о чем сообщал. Как мы знаем, и на самом деле в эти дни окончательно захлебнулось октябрьское немецкое наступление, о котором Гитлер сказал: «Сделано все, что в человеческих силах, чтобы окончательно сокрушить Россию».

28 же октября я уехал из Куйбышева. На прощание мы поцеловались с Женей. Я не знал, когда и где мы с ним увидимся, но не думал, что больше не суждено мне встретиться с другом...

## XX

В мае 1942 года я был призван в Красную Армию для работы во фронтовой печати. В начале июля я находился в командировке в частях 51-й армии, расположенной под Ростовом. 3 июля, войдя в редакцию армейской газеты, в станице Мечетинской, я услышал середину фразы, звучавшей из радиоприемника:

«...вдове, Валентине Леонтьевне Катаевой-Петровой... ежемесячно...»

Задохнувшись, я кинулся к приемнику. Сомнений не было. Евгений Петрович погиб.

Ночью, ворочаясь на узкой койке в мечетинском Доме колхозника, я не мог заснуть. Обычная суэта нашей жизни, потрясения войны разлучили меня с Петровым, отвлекли от этого человека мои помыслы. Но узнав об его гибели, я с глубокою болью почувствовал, до какой степени был мне нужен этот человек. Пусть бы он ходил по земле где-то, хотя бы и далеко от меня, пусть бы даже мы общались с ним редко и мало, — мне хватило бы и этого. А теперь я чувствовал, что из моей жизни ушло что-то очень дорогое, что-то лично мне принадлежащее. Оборвалась одна из самых крепких нитей, которыми я при-

вязан к родному городу, любимому мною ремеслу литератора, к среде близких мне людей. Отвалился кусок моей молодости.

Читатель простит мне эгоистический характер предыдущих строк. Да, я знаю, смерть Петрова прежде всего — горе его семьи, его детей, огромная утрата для его читателей — а их существуют миллионы. Но это и мое горе, и я не могу промолчать о нем, когда пишу о покойном друге...

...Я перечитал «Записные книжки» Ильфа и предваряющую их статью Евгения Петровича «Из воспоминаний об Ильфе». Меня поразил вещей характер одной фразы из этих «Воспоминаний». Петров пишет:

«Я не помню, кто из нас произнес эту фразу:

— Хорошо, если бы мы когда-нибудь погибли вместе, во время какой-нибудь авиационной или автомобильной катастрофы...»

Ну, вот Евгений Петрович и погиб во время авиационной катастрофы, в возрасте сорока лет, как и Ильф, на пять лет и два с половиной месяца пережив своего соавтора.

Писатель Аркадий Первенцев, который попал в эту же аварию, но отделался одною раной, рассказал мне, что на земле Петров прожил с четверть часа. Но в сознание он не приходил, так как у него была поражена голова.

## XXI

Надо еще сказать здесь о том, как проявлял себя Петров на фронте. Я сам не встречался с ним в военной обстановке. Но существуют прекрасные воспоминания К. М. Симонова о Петрове на Карельском фронте. Самый факт посадки в осажденный Севастополь в июне 1942 года — уже подвиг. Достаточно написано про обстановку в Севастополе того времени. Петров туда дошел на подводной лодке, обратно — на лидере эсминцев «Ташкенте». Кто знаком с историей отечественной войны, тот знает: «Ташкент» — это легендарное имя на Черноморском флоте. Почти весь личный состав судна был награжден за этот рейс из Севастополя. И многие — посмертно. Впрочем, Петров сам написал о «Ташкенте». Это последние строки, написанные им. Думаю, Евгений Петров по справедливости должен делить славу экипажа «Ташкента».

Мне довелось служить в соединениях, которыми командовал генерал армии Иван Ефимович Петров, однофамилец нашего писателя, возглавлявший гарнизон Севастополя в дни его осады. И генерал мне лично говорил, как мужественно вел себя Евгений Петрович, попавший в Севастополь к тому времени, когда иссякали силы его защитников после беспримерной в истории девятимесячной обороны крепости.

Бессмысленная авария Дугласа в районе станицы Миллерово отняла у нас и те страницы Петрова, которые, будь он жив, он посвятил бы героям Севастополя, после того как он разделял опасности их борьбы с фашистами в самый трудный период осады.

## XXII

...И вот были два замечательных человека и нет их. Что же осталось? Остались книги. Замечательные, умные и добрые, веселые и талантливые книги. В наше время быстро стареют и даже умирают

книги. Сколько сочинений, возбуждавших еще недавно восторги, споры, всеобщий интерес, сегодня утратили всякое значение. И это относится к фолиантам, задуманным в самых величественных жанрах, с прицелом на века. А вот собрания злободневных фельетонов, романы этого же плана, созданные Ильфом и Петровым, радуют нас едва ли не больше, чем в дни своего выхода, ибо нас увлекает то, как, описывая злобу дня, происшествия, случившиеся нынче, наши писатели сумели удивительно талантливо выразить глубокую суть описываемого. Так что злоба дня на ваших глазах превращается в нечто, существующее не день и не год, а куда больше!..

Не мешает книгам Петрова и Ильфа и то, что исчезли иные термины, имена собственные, видоизменились бытовые навыки, порядки, описанные в их сочинениях. У Ильфа и Петрова все изложено так ясно и точно, так умно, с таким уважением к читателям, что для ушедших из жизни явлений в этих книгах не требуется комментариев. И вот тому убедительный пример: эти самые «локальные» романы переведены на все языки мира. Оказывается, и в Европе, и в Азии, и в Америке читатель постигает все, что рассказывают ему Ильф и Петров про далекую, совсем неизвестную ему жизнь советских людей.

Тут же скажу: для меня и при жизни друзей моих было наслаждением рассматривать в книжном шкафу Евгения Петровича (Ильф не был столь аккуратным коллекционером) нарядные переплеты иностранных изданий «Двенадцати стульев», «Золотого тельца», «Одноэтажной Америки». Вот английский перевод, выпущенный в Нью-Йорке. Вот английское издание, в Лондоне. Вот французский текст, на корешке надпись «Париж». А вот французский перевод из Брюсселя. Вот венское издание на немецком языке. Вот берлинское. Вот чешские надписи. Вот польские, норвежские, шведские, испанские, итальянские, турецкие, японские, китайские, арабские... По всему миру разошлись книги наших друзей. Они «удостоились» сожжения на фашистских кострах в Берлине, они всем говорят о том, что на родине у нас жили два талантливых и добрых, умных и веселых человека. Пусть же во всем мире завидуют тому, какие у нас есть хорошие люди!

А я счастлив, что знал обоих этих чудодеев (ведь создать хорошую книгу — это значит совершить чудо)—Илью Ильфа и Евгения Петрова.

СУЛЕЙМАН РАГИМОВ

## ЛИТЕРАТУРА СОВЕТСКОГО АЗЕРБАЙДЖАНА

В «Критических заметках по национальному вопросу» В. И. Ленин писал:

«В каждой национальной культуре есть, хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую» (т. XVII, стр. 137).

Новая советская литература Азербайджана продолжила и развила лучшие, благороднейшие традиции многовековой классической азербайджанской культуры.

Гениальный поэт и мыслитель XII века, золотого века азербайджанской культуры Низами Гянджеви в своем знаменитом «Искандер-намэ» описал «страну подлинного счастья», где нет «ни лжи, ни воровства, ни насилия, где нет ни угнетенных, ни угнетаемых, ни богатых, ни бедных». В его «стране гармонического развития» люди равны между собой, они любят друг друга и во всем друг другу помогают, поровну разделяют между собою добро и несчастья...

Современница Низами, прославленная поэтесса Мехсети-ханум-Гянджеви, также воспевала идеалы свободной, счастливой жизни и бесстрашно провозглашала идею раскрепощения женщины:

Приковать нас к старику нельзя,  
В келье, как в гробу, закрыть нельзя:  
Если кудри девы вьются цепью,  
Цепью приковать ее нельзя!

Среди мужественных борцов за свободу и счастье своего народа — поэт-

мыслитель XIV века Насими, ученый и поэт Мухаммед Физули, поэт и государственный деятель XVIII века Вагиф, писатель и публицист XIX века, философ, основоположник драматургии мусульманского Востока, Мирза Фатали Ахундов (Сабухи), основатель первой азербайджанской газеты «Экинчи» — крупнейший просветитель Гасан-бек Меликов Зардаби и многие другие, чьи имена навсегда остались в памяти азербайджанского народа, как символы прогресса, гуманизма, свободолобия.

Используя многовековое классическое наследие своей национальной поэзии, учась у мастеров мировой литературы, овладевая методом социалистического реализма, молодая советская литература Азербайджана в содружестве с советской литературой великого русского народа и других братских народов СССР достигла серьезных успехов.

Полная свежих творческих сил, она воспевает счастье родного народа, возрожденного социалистической революцией, его героическую историю, светлое будущее; она воспевает гениев человечества Ленина и Сталина, братскую дружбу народов Советского Союза, Красную Армию, защитницу и спасительницу всего культурного мира от кровавого фашистского мракобесия.

Один из создателей азербайджанской советской поэзии, поэт и драматург Сamed Вургун, известен своими поэтическими сборниками и драмами в стихах — «Вагиф», «Ханлар», «Фархад и Ширин». Следуя, особенно в раннем периоде своего творчества, луч-

шим традициям ашугской поэзии и обаятельной лирики Вагифа, он искал и нашел свой собственный творческий путь. Лирика Самеда Вургунга богата своеобразными, меткими, надолго запоминающимися образами, афоризмами и отличается идейной глубиной, любовью к жизни, стремлением познать и воспеть высокие человеческие чувства.

В эпических и драматических поэмах Вургунга — красочность и народность, простота языка и свежесть образительных средств, являющихся неотъемлемыми качествами его поэзии.

Видное место занимает в азербайджанской советской литературе поэт Сулейман Рустам. Его первый большой сборник стихов «От горя к радости» ознаменовал не только начало его собственной творческой биографии, но явился новым словом во всей советской поэзии Азербайджана.

Развивая в своем творчестве идею верности поэта своему народу, готовности защитить отчизну, С. Рустам является одним из создателей азербайджанской политической лирики. Стихи его целеустремленны, заострены и вместе с тем глубоко лиричны.

Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР, талантливый поэт Мамед Рагим умело использует литературные традиции великих лириков Физули, Вагифа и других. Он создал много песен и поэм, отличающихся звучностью, лиризмом, искусным сочетанием форм классической поэзии с новыми сюжетами и формами. Многие стихи М. Рагима положены на музыку и исполняются во всех уголках Азербайджана наряду с любимыми народными и классическими песнями. Лирические его стихотворения коротки, но насыщены большими мыслями и большими чувствами.

Вот строчки, характерные для Самеда Рагима:

Я мечтаю сквозь годы вдруг взглянуть  
вперед,  
О счастливых днях земли слушай,  
мой народ,  
Про мечту, мою мечту — светлую  
мою,  
В чистой песне от души я тебе пою...

Не чужд Мамеду Рагиму и эпический жанр. Его поэма о С. М. Кирове по праву стоит в ряду лучших произведений нашей поэзии.

Поэт Расул Рза — сторонник новаторства, в лучшем смысле этого слова. Он многое сделал для расширения те-

матики, обновления форм, образительных средств и языка нашей советской поэзии. Подражая Маяковскому, Расул Рза осваивал лучшие черты его поэзии, но шел в то же время по своему пути, и со временем стал одним из оригинальных поэтов Советского Азербайджана. В его стихах нашли отображение такие темы, как борьба китайского народа за свою независимость, оборонительная война против итальянского империализма, разоблачение подлой провокации немецкого фашизма, — трагикомедия с «Пожаром в рейхстаге» («Германия»), борьба испанских республиканцев за свободу и демократию и т. д.

Расул Рза широко пользуется разнообразными жанрами, формами, размерами (классический аруз, народный хаджа и белый стих), но везде сохраняет собственный стиль, свое поэтическое «я». Он написал много художественных очерков, рассказов и пьесу «Вафа», посвященную теме Великой отечественной войны.

Талантливый азербайджанский лирик Ахмед Джамил силу своего дарования проявил главным образом в годы Отечественной войны. Его стихи глубоко эмоциональны и лаконичны, в них чувствуется особая теплота и искренность, они волнуют и надолго запоминаются. Сложнейшие темы Джамил разрешает простыми, но верными средствами истинной поэзии.

Поэт О. Сарывелли принес в поэзию советского Азербайджана мотивы народной поэзии, он известен как певец быта и природы азербайджанской деревни, в которой умеет находить тончайшие привлекательные черты, пленяющие читателя.

Поэзия Советского Азербайджана за последние годы окрепла, поднялась на большую политическую и художественную высоту, обогатилась именами новых молодых талантов, рожденных и закаленных на фронтах Великой Отечественной войны и в трудовом тылу.

Преза Азербайджана гораздо больше его поэзии. Однако ряд крупных мастеров прозы XIX века — писатель-мыслитель М. Ф. Ахундов, Джалил Мамед-кули заде (Молла Насреддин), Ахвердов, М. С. Ордубады, А. Шанк, Сулейман Сани Ахундов и другие создали прочный фундамент для ее роста. Кроме М. Ф. Ахундова, умершего еще в прошлом веке, все остальные прозаики старшего поколения

продолжали свое творчество и после Великой Октябрьской социалистической революции.

Обладающий большим жизненным опытом писатель-коммунист Мамед Сеид Ордубады вступил на литературную арену задолго до революции. За годы революции этот видный романист создал ряд крупных произведений, отражающих жизнь и борьбу азербайджанского народа в различные периоды его истории — с давних времен до наших дней.

Лучшие страницы его популярного многотомного романа «Тавриз туманный» посвящены борьбе Саттар-хана, который выступил в 1907—1908 гг. во главе восставшего народа против иранского деспотизма.

Героическую борьбу бакинского пролетариата в 1918 г. под руководством славной большевистской партии описывает Ордубады в своем другом крупном романе «Борющийся город». Героем романа «Мир меняется», посвященного борьбе за Асгхань, является мужественный борец-большевик бессмертный С. М. Киров.

Будучи свидетелем, а часто и участником многих событий, описываемых в своих романах, Ордубады убедительно и правдиво изображает реальную обстановку периода революционной борьбы. Полный творческой энергии, он неустанно работает над созданием новых художественных полотен.

Другим виднейшим представителем старшего поколения азербайджанских прозаиков является писатель и педагог Абдулла Шанк, автор многих талантливых рассказов и повестей. В рассказе «Кочевка» он с теплотой и мастерством изобразил картины жизни, быта и природы азербайджанской деревни. За последние годы Шанк создал роман «Араз», где рассказано о росте революционного сознания рабочих и о разложении бакинской буржуазии в начале XX столетия.

А. Шанк — основоположник новой юношеской литературы Азербайджана — первый создал поэмы, рассказы и пьесы для детей.

Один из прозаиков нового поколения, писатель Абульгасан известен романом «Мир рушится», в котором изображены события и люди знаменательной эпохи первых лет революции. Хотя в этом романе тогда еще молодого писателя имеется ряд недостатков, он все же представляет со-

бой одно из первых произведений советской прозы Азербайджана, посвященных столь большой и ответственной теме. Второй роман Абульгасана «Подъем» показывает сложный процесс колхозного строительства в азербайджанской деревне.

Даровитый прозаик Мехти Гусейн создал роман «Половодье», посвященный партизанскому движению в Азербайджане накануне установления советской власти. Автор описывает героическую борьбу партизанского отряда большевика Сархана в трудных условиях мусаватского террора. Хотя этот смелый отряд и гибнет в неравной борьбе с кровавыми силами господствовавшей реакции, но на каждой странице, в каждом эпизоде романа ощущается обреченность «победителей», сила и мощь руководимого большевистской партией революционного движения, неизбежность конечного торжества правого дела революции. В романе показан рост людей в процессе борьбы, дружба народов Закавказья, их единство в борьбе за свободу и счастье своей родины. Во втором своем крупном произведении, романе «Тарлан», Мехти Гусейн говорит о проникновении социалистических идей в сознание человека, о сложном процессе развития характера и психологии людей в условиях социалистического строительства. В творчестве Мехти Гусейна — стремление к широкому охвату описываемых событий и к углубленному изображению внутреннего мира героев. Мехти Гусейн написал также ряд интересных рассказов, повестей и драм.

Видный прозаик Мир Джалал приобрел широкую популярность своими талантливыми произведениями: «Воскресший человек» и «Манифест молодого человека». В первом романе автор с большим волнением рассказывает о бесчисленных кровавых подвигах мусаватских головорезов, о самоотверженной борьбе рабочих и крестьянских масс Азербайджана против своих поработителей, против бек-ханской власти. В «Манифесте молодого человека» изображены яркие эпизоды из истории подпольной борьбы азербайджанского комсомола за утверждение власти советов. В последнем своем произведении «Открытая книга» он описывает жизнь советского студенчества, его борьбу за социалистическую культуру, за овла-

ление знаниями, процесс создания кадров новой советской интеллигенции из среды трудящейся молодежи.

Интересные произведения, рисующие жизнь азербайджанской деревни, написал прозаик Али Велиев, автор романа «Кахраман» и многих бытовых рассказов и повестей, посвященных, главным образом, колхозной деревне. Наиболее удачна его повесть «Друзья», где описан ряд эпизодов жизни и работы великого Сталина в период его пребывания в Баку.

Дарование Энвера Мамедханлы проявилось в лирических рассказах, в живых и красочных новеллах и повестях о советской молодежи. В первом своем произведении «Водоворот» Мамедханлы удачно изобразил процесс роста новой технической интеллигенции в нефтяной промышленности Азербайджана, ее борьбу с консерватизмом некоторых старых специалистов и преобразование характера передового работника в социальном труде, в условиях социалистического соревнования и творческого сотрудничества старых и молодых специалистов. Повесть Мамедханлы «История одного острова», построенная на контрастах в жизни нефтяников до и после революции, эмоционально действенна и убедительна.

Рассказы и повести прозаика и драматурга Сабит Рахмана посвящены, главным образом, борьбе с пережитками прошлого в быту и в сознании людей нашего времени. Прозу и комедию С. Рахмана отличает тонкий юмор, переходящий порой в острую сатиру.

Интересны произведения молодых прозаиков Ильяса Эфендиева и А. Заграббекова.

К 60-летию товарища Сталина азербайджанские прозаики выпустили сборник рассказов и повестей, посвященных славы жизни вождя. Этот сборник, вышедший под названием «Отец народов», говорит о росте художественной прозы Азербайджана. Рассказы, помещенные в нем, написаны с большой любовью, с сознанием ответственности за почетную и трудную тему.

Молодая советская проза Азербайджана творчески крепнет и развивается. Созданы многотомные романы, десятки больших повестей, сотни рассказов. Продолжая лучшие традиции национальной прозы и участь у бессмертных мастеров русской и мировой

художественной литературы, наши писатели уверенно идут к новым творческим достижениям.

Первые классические образцы азербайджанской драматургии принадлежат мыслителю и драматургу М. Ф. Ахундову, жившему почти столетие тому назад. В дальнейшем своем развитии это искусство было обогащено лучшими произведениями Ахвердова, Н. В. Везирова, Мамед-кули заде и др.

Первым драматургом советского Азербайджана был Джафар Джабарлы. Начав свою краткую, но плодотворную деятельность незадолго до Великой Октябрьской революции, он нашел свой истинный путь самобытного художника только после установления в Азербайджане советской власти. Его драма «Невеста огня» изображает борьбу азербайджанского народа под водительством Бабека против иноземных захватчиков. Героиня пьесы «Севиль» — азербайджанская женщина, отстаивающая свои человеческие права. В драме «Алмас» показано участие освобожденной азербайджанки в социалистической перестройке деревни. «В 1905 году» — волнующее произведение о днях борьбы с царским деспотизмом и о братстве армянских и азербайджанских трудящихся, — о братстве, скрепленном кровью, пролитой в совместной борьбе с угнетателями. Все эти талантливые произведения отличаются широтой охвата жизненных проблем, зрелостью художественной формы, глубиной идейного замысла.

Джабарлы является основоположником героико-романтического направления в советской драматургии Азербайджана.

Другой крупный драматург, Мирза Ибрагимов, создал ряд драм, которые по праву считаются лучшими в азербайджанской литературе. Его пьеса о большевистской бдительности «Хаят» как бы продолжает линию «Алмас» Джафара Джабарлы. Главная героиня пьесы Хаят вступает в беспощадную борьбу с тайными врагами народа и, действуя в тесном единении с лучшими представителями масс, побеждает врагов.

В пьесе «Мадрид» Мирза Ибрагимов изображает героическую борьбу испанских республиканцев с мрачными силами международного фашизма и кровавого империализма.

Выдающийся деятель советского искусства поэт Самед Вургун создал

ряд превосходных стихотворных драм. Тема драмы «Вагиф» — борьба азербайджанского народа с иноземными захватчиками, братская дружба закавказских народов в этой борьбе и стремление к союзу с великим русским народом. Ее герой — великий азербайджанский поэт и государственный деятель Вагиф. В пьесе «Фархад и Ширин», написанной по мотивам бессмертной поэмы Низами «Хосров и Ширин», автор показывает героическую сущность народа, чистоту и духовную силу его сыновей и дочерей. Оба эти произведения Вургун удостоены Сталинской премии.

В замечательной пьесе «Ханлар» С. Вургун с большой художественной силой изобразил борьбу бакинского пролетариата, руководимого товарищем Сталиным. В этой пьесе был создан образ гениального большевика-руководителя, стоящего в центре многонациональной, но единой семьи героических бакинских рабочих, вписавших славные страницы в историю революционного рабочего движения России. Незабываемое впечатление оставляет сцена, где жандармы, зверски избивая старуху-мать подпольщика большевика Ханлара, скрывающую молодого Кобу, требуют выдать его.

«— Вы спрашиваете, где мой гость? Рассеките мою грудь, он в самом моем сердце!» — отвечает женщина.

В стихотворных драмах Вургун сочетаются лучшие качества драматургии и поэзии.

Первое драматическое произведение другого азербайджанского драматурга, Мехти Гусейна, — «Шахрат» («Слава») посвящено советским пограничникам. В его драме «Низами» перед зрителем предстают характерные эпизоды жизни великого азербайджанского поэта-мыслителя.

Первые комедии в азербайджанской советской драматургии созданы даровитым драматургом Сабит Рахманом. В бытовой комедии «Той» («Свадьба») автор сатирически изображает барствующего председателя колхоза. В «Хошбахтлар» («Счастливец») он высмеивает нелепую ревность и ставит вопрос о здоровых и честных взаимоотношениях мужчины и женщины в условиях нового советского быта и созидательного труда.

Драматургии Советского Азербайджана, так же как его поэты и прозаики, опираясь на наследие национальной, русской и мировой литера-

туры, уверенно движутся в своем творчестве вперед по пути социалистического реализма, сохраняя и развивая героико-романтические традиции.

Азербайджанская литературная критика и литературоведение очень молоды. По-настоящему они стали развиваться лишь после Великой социалистической революции. Однако критики и литературоведы Советского Азербайджана уже многое сделали. Интересны труды академика Гейдара Гусейнова о развитии общественной мысли в Азербайджане, его исследования о философских взглядах М. Ф. Ахундова, о Низами и о других поэтах и мыслителях нашего народа. Значительна научная работа академика Мирзы Ибрагимова о творчестве Мамед-кули заде; серьезны труды критика Мамед Арифа и литературно-критические очерки Азиз Шарифа. В области критики успешно работают М. Рафили, Г. Араслы, М. Рза-кули заде, Дж. Джафаров и другие.

Большой интерес представляет коллективный труд азербайджанских критиков и литературоведов — двухтомная история азербайджанской литературы с древнейших времен до наших дней.

Художественный перевод имеет огромное значение в осуществлении творческого содружества братских народов Советского Союза и в ознаменовании широких масс народа с лучшими произведениями мировой литературы.

За годы советской власти достигнуты большие успехи и в этой области. На азербайджанский язык переведены произведения Пушкина, Лермонтова, Л. Толстого, Маяковского, Чехова, Крылова, Горького, Шевченко, Руставели, Шекспира, Мопассана, Флорбера, Байрона, Хайяма и др. Переведены и бессмертные произведения гениального азербайджанца Низами, вынужденного в свое время писать на чужом языке.

С большой любовью и сознанием почтенности и ответственности своего долга перед народом и перед памятью великих художников работают поэты-переводчики А. Шаик, С. Вургун, С. Рустам, М. Рагим, Р. Рза, М. Рза-кули заде.

Великая Отечественная война советского народа с кровавыми немецкими захватчиками мобилизовала все



Он прошел по кровавым дорогам  
войны,  
Чтобы Родина светом весны озарилась,  
Чтобы славилась Родина —  
Азербайджан!  
Он сражался во имя победы и мести.  
Эта жизнь богатырская — гордый  
дастан  
О суровом бесстрашии, о славе  
и чести.

Самед Вургун в стихотворении  
«Смерть героя» говорит о славе, ко-  
торая увенчает память героя:

...увидят люди

Твой светлый облик, что весны  
лучистой.

Потомкам дальним о герое будет  
Рассказывать язык пера и кисти.  
Бабек и Джеваншир сквозь ночь  
столетий

С почетом склонят меч перед тобою.  
Покуда мир стоит и солнце светит —  
В сердцах нетленна память о герое.

В произведениях о мужественных  
защитниках родины показано, что

героизм этих людей не случаен,  
а свойственен их душевному облику,  
рожден и воспитан созидательным  
свободным трудом в условиях вели-  
кого социалистического строительства.

Большими достижениями, новыми  
творческими победами встречают пи-  
сатели Азербайджана славное двадца-  
типятилетие своей цветущей респуб-  
лики.

Правда нашей эпохи, правда побе-  
дившей ленинско-сталинской идеи,  
правда великого дела героического  
советского народа должна воплотиться  
в подлинно поэтические образы ге-  
роев нашего времени — строителей и  
бойцов.

В обстановке тесного творческого  
сотрудничества азербайджанского наро-  
да с великим русским братом и со  
всеми другими народами СССР в ус-  
ловиях непрерывного подъема куль-  
туры Советского Азербайджана, под  
мудрым водительством великой пар-  
тии Ленина — Сталина, литература Со-  
ветского Азербайджана неуклонно и  
уверенно движется вперед.

## Ос. ЧЕРНЫЙ

### «СЫН ПОЛКА» ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА

#### 1

Нашу художественную литературу  
об Отечественной войне питает и  
будет питать тот большой идей-  
ный гуманизм, который воспитывал-  
ся в советском человеке в тече-  
ние долгих лет нашего строитель-  
ства и нашей борьбы. Война, ве-  
ликая миссия, которую выполнил в  
ней наш народ, жертвы его и стра-  
дания, его сила и то, во имя чего он  
ее применил, еще более углубили  
идеи этого гуманизма. Искусство, обо-  
гащенное ими, будет долго влиять  
на народ — и не столько, кажется  
мне, изображением картин войны,  
сколько изображением в этой войне  
людей.

Поглощенные трудным делом вой-  
ны, посреди многих ее жестокостей,  
люди еще больше, чем обычно, нужда-  
лись в проявлениях простой повсе-  
дневной душевности — им были осо-  
бенно дороги дружба, чувство взаим-  
ной связи и бескорыстная доброта.  
Это и многое другое, что составляет

основу русского национального харак-  
тера, оберегало воинов в самые тяж-  
кие для них дни.

«Сын полка» Валентина Катаева —  
это повесть о простых и хороших  
людях, сохранивших и возвысивших  
свою душевность и благородство в  
обстановке военной страды; это —  
повесть о неожиданном и своеобраз-  
ном «уют» походной жизни, согре-  
той теплом человеческих душ.

В фокусе повести оказался бездом-  
ный мальчик, которого разведчики  
артиллерийской батареи нашли в  
глухую осеннюю ночь в немецком  
тылу. Два года он блуждал по ле-  
сам в надежде выбраться к нашим.  
Его доставили в воинскую часть и  
спасли таким образом от бесприют-  
ной, голодной жизни. Командир ба-  
тареи приказал отправить его в тыл.  
Но мальчик, успевший почувствовать  
ласку взрослых, убежал в пути, сумел  
вернуться и так понравился коман-  
диру, что тот решил оставить его  
у себя.

Это — смысленный, ласковый, наив-

нии и до злости гордый мальчик; это простой деревенский русский мальчик, в котором писатель нашел и необыкновенную привлекательность и самую простодушную чистоту.

Перед нами проходит короткий, но полный событий отрезок его жизни. Сначала Ваня Солнцев живет у разведчиков. Верные своему обещанию, они однажды берут его с собой в разведку. Излишнее усердие чуть не губит Ваню — он попадается немцам. Его спасают те же разведчики во время начавшегося наступления. Капитан Енакиев, командир батареи, решает усыновить мальчика. Он подает об этом рапорт, а пока что прикомандировывает Ваню к расчету орудия, чтобы мало-помалу он привык к военному делу. Но на войне, как об этом не раз вспоминает автор, судьба людей меняется быстро и круто: Енакиев гибнет, командир полка, выполняя волю погибшего, отправляет мальчика в тыл, в суворовское училище. Его не успел сделать своим сыном Енакиев, теперь его усыновляет полк, верный памяти героически погибшего капитана.

Вот в общем несложное течение событий повести. В ней так удачно найдена основная съемочная точка, что картины военной жизни — бой, разведки, пребывания на отдыхе — проходят перед нами в естественном сочетании с человеческой добротой, облегчающей жизнь воина и возвышающей дух. Это — доброта русская и советская доброта. Ее носителями являются, в первую очередь, разведчики Биденко и Горбунов. Она заметна даже в их облике. Один «костистый великан с добродушным щербатым ртом», другой — «тоже великан, но великан совсем в другом роде — вернее сказать, не великан, а богатырь — гладкий, упитанный, круглолицый, с каленым румянцем на толстых щеках».

Два слоя примет накладывает Катаев, рисуя этих людей: реалистически трезвый и немного гиперболизированный, напоминающий сказку. Этот второй оттенок мы встречаем уже в самом начале повести. Описав лес, белое, лунное небо, «распавшееся, как простокваша», ветки осин, «уныло окруженные радужным сиянием», автор заключает: «В общем это было красиво той дивной красотой, которая всегда так много говорит русскому сердцу и заставляет воображение ри-

совать сказочные картины». Он и дальше время от времени вспоминает о том, что «все вокруг было сказочно» — и эта палатка, как бы освещенная солнцем среди пасмурного дня, и грохот близкого боя, и добрые великаны, кидаящиеся горстями рафинада». Поместив в центре повести мальчика, автор вправе был то и дело, на каждом шагу, обыкновенное представлять необыкновенным, таким, каким оно открывалось глазам Вани. Но, наряду с простодушной восторженностью, в этом мальчишке сильна и природная крестьянская наблюдательность, острота зрения, которая заставляет Горбунова и Биденко признать в Ване прирожденного разведчика. Как истый разведчик, он никогда никого не расспрашивает, а все, что ему нужно, находит сам. И однако Валентин Катаев, ни на минуту не упуская своего героя из вида, вовсе не передоверяет ему свою точку зрения и свой способ видения вещей (как сделал, между прочим, в повести «У городских ворот» Евгений Рысс, снизив этим убедительность и даже правду своего произведения). Вследствие этого реалистический план повести Катаева оказывается основным и главным.

Мы должны быть признательны автору за множество наблюдений. Он наблюдает легко и метко, на ходу щедрой рукой разбрасывая по повести отличные детали. Глаз писателя замечает то одно, то другое, и эпизод за эпизодом перед нами раскрываются картины военной жизни: то мы видим, как разведчики домовито пьют в блиндаже чай, как они играют в «козла», «с таким азартом хлопая костями, что можно было подумать, будто в блиндаже палят из пистолетов»; то наблюдаем их вместе с Ваней в бане, где «горячая вода немало попахивала бензином».

«В жарком туманном воздухе, насыщенный крепким духом распаренного березового листа, оба разведчика двинулись вокруг мальчика, наклоняя головы, чтобы не стукнуться о бревенчатый потолок. Их богатырские тени, как балки, пробивали туман». Мы видим, как Ваня в первый раз неумело наматывает портянку и как учится он рапортовать. Мы видим и лицо Горбунова, преследующего немцев: «Боже мой, как он изменился. Это был все тот же богатырь — плотный, широкий, даже тол-

стый, но куда девалась его добродушная, своякая щербатая улыбка. Теперь его лицо с белыми ресницами, озабоченное, разъяренное боем, темное от копоти, смотрело грозно.

Катаев любит подробности. В солдатской крошконе он различает все — и свиную тушонку, и картошку, и лук, и перец, и чеснок, и лавровый лист. Стоит ему упомянуть о куреве, как будут названы «и простая фабричная махорка, и пензенский самосад, и легкий сухумский табачок, и папиросы «Путина», и даже маленькие трюфельные сигары, которые разведчики не уважали и курили в самых крайних случаях и то с отвращением». Зайдет ли речь о попутной машине, в которую у каждого контрольно-проверочного пункта подсаживались все новые и новые люди, Катаев перечислит всех: и солдат с переднего края, только что из боя; и двоих интендантов в хорошо сидящих шинелях и новеньких твердых фуражках; и девушку из военторга в мажентоше и коротких керзовых сапогах; и веселых летчиков-истребителей, достающих папиросы из толстых прозрачных портсигаров, сделанных из отходов бронестекла; и женщину-врача, толстую, пожилую, в круглых очках и синем берете, плотно натянутом на седую, коротко остриженную голову.

Это изобилие подробностей происходит от необъятной приметливости автора. Чаще всего они действительно нужны и характеристичны: они бросают добавочный свет на людей и их взаимоотношения и являются средством психологической и бытовой характеристики героев и их фронтовой жизни.

Катаев умеет находить те характерные частности, которые как нельзя лучше выявляют рисунок героя. Встречу Вани, спасшегося от немцев, с Горбуновым, Катаев описывает, например, так:

«— Дядя Горбунов! — крикнул Ваня тонким голосом, стараясь перекричать шум боя.

И в ту же минуту глаза их встретились.

На лице Горбунова вспыхнула радостная улыбка — та прежняя, широкая, артельная улыбка, открывшая щербатые зубы.

— Пастушок! Ванюшка! — крикнул Горбунов на весь лес богатырским, но вместе с тем и немного бабьим высоким голосом. — Будь ты неладен!

Гляди — жив! А я думал, ты и вовсе пропал. Друг ты мой сердечный, ну что ты скажешь, — говорил он, одним махом очутившись рядом с Ваней, — ну, брат, задал же ты нам заботу!

Он крепко обнял мальчика, прижал его к себе, потом взял горячими руками за щеки и два раза поцеловал в губы жесткими солдатскими губами.

Здесь, мне кажется, точно все: и тонкий голос Вани, и улыбка Горбунова, и богатырский, но в то же время немного бабьим высоким его голос, и, наконец, поцелуй жестких солдатских губ.

Такими талантливыми подробностями Валентин Катаев характеризует и душевные движения людей и их поведение. В этом так же, как и в диалогах, едва ли не самая сильная сторона повести.

Наша литература за последние десять — пятнадцать лет добилась, мне кажется, серьезных успехов в умении открывать внутренний мир людей с помощью таких вот характерно тонких частностей и такой характерно точной речи. В умении же строить авторские психологические характеристики, давать обобщающие портреты действующих лиц мы слабее. Это касается и Катаева. Когда я читаю о капитане Ахунбаеве, что он был «горячий, нетерпеливый, смелый до дерзости», а о Енакиеве, что он «тоже был храбр не меньше своего друга Ахунбаева, но был при этом холодноват, расчетлив, как и подобает хорошему артиллеристу», то я готов принять это без возражений, но читательской радости не испытываю. Интересас к человеку это не удовлетворяет.

Но вот диалог Катаева и характерен и реалистичен. Он гораздо ближе знакомит нас с героями повести, чем все, что со своей стороны делает, характеризуя их, автор.

## 2

Итак, реализм Катаева в «Сыне полка» опирается на отлично увиденные подробности, на психологически точную речь героев и на очень важные и хорошо найденные частные характеристики.

И все же иногда этот реализм кажется условным, как если бы физический вес предметов оказался уменьшенным и они оторвались бы от земли. Катаев стремится создать по-

вествование ладное, плавное и в то же время стремительное. Для достижения этого он сознательно идет на некоторое облегчение конструкции, вследствие чего неожиданно открывается слабая сторона повести.

События в этой книге движутся слишком гладко, беспрепятственно, впадая одно в другое. Автор во всех случаях приходит на помощь к людям и их делам: он управляет какой-то волшебной палочкой. Палочка эта выглядывает из-за слов «как раз в этот миг», «но в это время» и тому подобных. Она видна и в счастливом сцеплении случайностей. Это можно понять и оправдать тем, что повесть задумана, в конечном итоге, как приключенческая. Но ведь и в мире приключений существует непрременная граница случайного. И если оно нарушает психологическую правду, то его нужно, с помощью той же палочки, убрать с пути.

Разведчики случайно наткнулись в лесу на стонавшего во сне мальчика. Не будь этого, не было бы и завязки повести. Против этого не возразишь. Но дальше: Ваня, убежав от Биденко, в поисках такого начальника, которому он мог бы пожаловаться на Енакиева, натывается как раз на самого Енакиева. Эта забавная случайность влияет, однако, на дальнейший ход повести, потому что, не будь ее, ход повести был бы иным. Нужна ли тут палочка автора, я не знаю. Не следовало ли эту случайность сделать менее влияющей?

Далее. Попав в плен к немцам и оказавшись запертым в блиндаже, Ваня никак не может вырваться. Для этого нужно, чтоб в конце концов бомба, обрушившись на блиндаж, разметала его, чтоб сверху, едва не стукнув Ваню по голове, упало несколько бревен, а досчатая дверь разбилась вдребезги. И, наконец, необходимо, чтобы бомба эта оказалась последней. Такой сложный узел совпадений вызывает некоторую подозрительность к происшедшему.

Даже в вводном эпизоде с парикмахером Глазсом, по прозвищу Восемь-Сорок, автор не может отказать себе в забавной и, конечно же, чрезвычайной случайности. Равнодушный к близким разрывам снарядов, парикмахер продолжает работу, но в известный момент говорит клиенту:

«— А вот теперь я вам советую на одну минуту спуститься в щель,

Р! едва они успели прыгнуть в щель, как совсем рядом разорвалась мина, в один миг уничтожившая все инструменты Глазса, оставленные на траве: помазок, чашечку, оселок, тюбик крема для бритья и зеркало».

В таких случаях забавное и случайное против желания автора отступает правдивость или во всяком случае вступает с ней в спор.

Есть еще одна черта, влияющая на характер катаевского реализма: это — чувство юмора. Он окрашивает очень многое, накладывает дополнительный тон на повествование, на характеристики, на диалоги. По времени юмор придает повествованию даже трогательный оттенок. Но бывает и так, что он превращается в самоцель, в остроумие. Катаев, мне кажется, всегда знает, когда его юмор живителен и мягок и не всегда чувствует ту границу, после которой его юмор лишается своего очарования, сохраняя лишь пестроту словесной раскраски.

«Но, боже мой, что это был за мальчик! Сроду еще не видал Ваня такого роскошного мальчика. На нем была полная походная форма гвардейской кавалерии. Шинель — длинная до пят, как юбка, круглая кубанская шапка черного барашка с красным верхом, погоны с маленькими стремениами, перекрещенными двумя клинками, шпоры и, — как венец всего этого великолепия, — ярко-алый башлык, небрежно закинутый за спину».

К такому мальчику даже страшно было подойти, не то что с ним разговаривать. Однако Ваня был не робкого десятка. С независимым видом он подошел к роскошному мальчику, расставил босые ноги, заложил руки за спину и стал его рассматривать».

Вряд ли этот мальчик действительно показался Ване «роскошным». Думаю, что простодушное деревенское впечатление тут неожиданно приняло качество городского, одесского, и давно знакомые нам, по-своему очаровательные, герои Валентина Катаева неожиданно заняли место Вани.

Другое дело, когда автор пишет, что «парикмахер был немолодой человек с добрыми воспаленными глазами и элегической улыбкой на рыжем лице», — остроумие и юмор в этом случае не расслаиваются. То же и в случае, где Катаев с доброй ироничностью рассказывает о почтительном отношении разведчиков к Глазсу:

«Было сразу видно, что Восемь-Сорок деловек знаменитый и в своей области считается профессором, оказавшим большую честь своим визитом». Здесь юмор даже помогает нам снова заглянуть в душевный мир разведчиков.

Но когда юмор включается в рассказ как бы автоматически и не служит какой-либо осязаемой цели, он превращается в игру, в симметрическое повторение схожих примет.

В первой деловой встрече капитаны пехотный и артиллерийский, Ахунбаев и Енакиев, закончив сличение карт, проверяют друг у друга часы.

— Отстаешь, капитан Енакиев.

— Никак нет. Я не отстаю. У меня верно. Это вы торопитесь, по обыкновению.

Затем они узнали оба точное время.

«— Твоя взяла, бог войны,— миролюбиво сказал Ахунбаев и, приставив свои часы к часам Енакиева, перевел стрелки.

— Пусть будет на сей раз по твоему. Прощай, комбат».

И такой же точно, вполне симметричный разговор происходит, когда они в конце повести встречаются снова, незадолго до боя, последнего боя Енакиева.

«— Отстаете,— сказал капитан Ахунбаев.

— Торопитесь,— сказал капитан Енакиев с ударением»,— и так далее.

Так механически вырастает комедийное положение там, где его по смыслу происходящего нет.

### 3

«Сын полка» в известной мере продолжает линию повестей Катаева «Белеет парус одинокий» и напечатанной два года тому назад «Электрической машины». Ваня Солнцев — не просто перенесенный в другую обстановку и в другое время Павлик, Гаврик или Петя. И все же он им сродни, хотя обладает четко различимой своей индивидуальностью. Как и они, Ваня открывает для себя мир, загадочный, заманчивый и необыкновенный. В данном случае это — мир войны.

Когда знакомишься с очень цельным портретом Вани, он кажется очень знакомым. Нас не удивляет ни его речь, ни его восхищение при виде нового, ни его сметка, ни желание во что бы то ни стало быть таким, как его друзья разведчики.

Биденко и Горбунова мы в сущно-

сти говоря, тоже знаем. Так что в данном случае происходит не открытие новых образов, а встреча со знакомыми, узнавание их. Процесс этого узнавания доставляет нам удовольствие тем более, что для каждого из своих героев у Катаева нашлись и выразительные характеристики, и точная речь. Многие диалоги в «Сыне полка» безупречны по своей внутренней точности. Я мог бы здесь привести и множество примеров отличной катаевской наблюдательности и отличного мастерства.

И все же в «Парусе» и «Электрической машине», повидимому, легче было достигнуть равновесия и гармонии всех элементов. Лиричность и юмор, специфический, близкий природе писателя южно-русский колорит — все это в сочетании с характерами тех героев дало очень устойчивый результат.

В «Сыне полка» добиться такого равновесия было делом несравненно более трудным. Нельзя было одним лишь светом доброжелательства и юмора осветить все перипетии трогательной истории мальчика на войне. Понадобились и серьезность, и строгость письма, и даже суровость. И когда автор начинает говорить всерьез, отбрасывая органически присущий его перу юмор, иные отрывки теряют своеобразие манеры. Герои в этих случаях говорят в общем правильно, казалось бы, не фальшивя, но стоит вслед за этим наткнуться на речь отличную, точную, богатую именно катаевскими находками, и предыдущее теряет свою убедительность.

К иным сентенциям, вроде «как известно, солдату легче обойтись без еды и без сна, чем без затяжки добрым, крепким табаком», или «каждый человек хорош на своем месте», или «в подобных случаях, как известно, хорошо помогает крепкое словечко или веселая шутка», — быть может, автор прибегает не с целью быть серьезным, а в поисках новых, нужных ему интонационных отклонений. И все же пока что они оказываются художественно малополезными.

Иные фразы звучат даже, как цитата: «Не раз и не два, даже не три раза столица наша Москва от имени родины озаряла вечерние тучи над Кремлем огненными залпами в честь доблестного фронта, где воевали батальон Ахунбаева и батарея Енакиева». Ни вечерние тучи, ни огненные

заны не сообщают этому индивидуального колорита.

Так же походит на пересказ и характеристика боевой дружбы Ахунбаева и Енакиева: «Много хлеба и соли съели вместе за походным столом боевые друзья. Немало воды выпили они из одной походной фляжки. Случалось, что и спали рядом на земле, укрывшись одной плащ-палаткой. Любили друг друга, как родные братья. Однако ни малейшей поближки по службе друг другу не делали, хорошо помня поговорку, что дружба дружбой, а служба службой». Насколько же «широкая артельная улыбка, одна на всех» у разведчиков светлей и лучше этой боевой принципиальной дружбы двух капитанов.

В конечном итоге удались в повести те образы, для которых у Катаева нашлось достаточно конкретных и характерных подробностей. Образ «паштука» Вани, разведчиков Биденко и Горбунова, капитана Ахунбаева, капитана Енакиева, наводчика Ковалева на ощупь трудно распознать: тут оказалось значительно меньше этого рельефного материала и больше общих характеристик. Однако и в изображении капитана Енакиева есть одна частная удача, которая представляется мне важной: Катаеву удалось в одном-двух разговорах показать демократический дух нашей армии, сочетающийся с высокой дисциплиной. В разговоре Енакиева со старшиной Егоровым и затем со всеми разведчиками, переход от неофициального тона к официальному, от взаимного дружеского понимания к отношениям почти приказным дает неожиданно интересный рисунок воинского демократизма. Рисунок этот непохож, например, на тот, какой мы видим в повести Бека «Волоколамское шоссе», где командир Момыш-Улы устанавливает это необходимое равновесие отношений гораздо более деспотически.

Я уже говорил об этом,— Катаев очень щедр и в подборе эпизодов и подробностей. Так же охотно, как и в «Парусе» и «Электрической машине», он дает вставные эпизоды, не отказывает себе в возможности описать что-либо смешное. Парикмахер Глаз и боковой эпизод, связанный с ним, напоминает, скажем, генералов, которых увидел Петя, зайдя в сберегательную кассу (повесть «Электрическая машина»). И тут и там ав-

тор не упускает случая рассказать читателю о забавных чудачествах.

Щедрость Валентина Катаева — проявление сильного беллетристического таланта. Но она не всегда сродни художественной строгости. Очень многое в «Сыне полка» выглядит как перво-сортный результат работы большого таланта. Но попадают и менее выразительные места, а порой и банальные. Иногда, ухватившись за частную примету, автор настойчиво, много раз возвращается к ней. Так замшевые перчатки капитана Енакиева фигурируют в качестве неперемного признака его подтянутости; тесемки плащ-палатки Ахунбаева, которые он то завязывает, то развязывает, — в качестве признака его нетерпеливого, горячего нрава.

Быть может, не стоило бы и упоминать об этих частностях, если бы в них, как и в других, о которых я писал, не сказывалась привычка к письму беглому, нежелание автора обрезать себя на поиски более строгого рисунка. Мне кажется, Валентин Катаев до такой степени овладел талантливой легкостью письма, уменьем свободно накладывать краски, строить диалоги, что время от времени, не подвергая себя допросу с пристрастием, он оказывается в плену своего таланта, быть может даже баловнем его.

И все же в «Сыне полка» Катаев решал и, до известной степени, решил трудную задачу. Он дал живую обстановку военной жизни, разнообразные отношения людей на войне. Через великое множество подробностей возникла перед читателем понятная, близкая, даже уютная и вполне русская картина. Мы запомнили и Ваню, и Биденко, и Горбунова. Нам стали милы их наивная, бескорыстная хозяйственность, доброта и широта их душ. Горе, заметное на втором плане повести, виднеется издалека. Оно время от времени окутывает нас дымкой грусти. Лишь постепенно элемент веселости и живой и мягкой иронии уступает грусти свое место, когда Енакиев гибнет и судьба мальчика снова, в который раз, меняется.

Затем грусть переходит во что-то другое, к концу повести возникает солдатская и мужская суровость. Когда мальчика привозят в суворовское училище, и Биденко прощается с ним, мальчик не осмеливается ки-

нуться к нему, как когда-то. «Ему хотелось броситься к Биденко, обнять его так, как он обнял его тогда, у разбитого орудия в районе цели номер восемь, прижаться к его обгорелой шинели, заплакать. Но та непонятная могущественная сила, которая уже однажды стала управлять его жизнью, остановила его».

Мальчик остается один, в руках этой новой могущественной силы, которую Валентин Катаев олицетворяет в образе старого генерала, начальника училища. Обходя спальни суноропцев, генерал «остановился возле ванной койки и долго стоял, рассматривая мальчика. Генерал смотрел на его одухотворенное спящее лицо, и ему хотелось проникнуть в душу этого маленького солдата, в самую ее глубину, прочесть самые его сокровенные чувства».

Могущественная сила, вошедшая в ванную жизнь, воплощается и в сне, который видит в этот момент мальчик. Он видит длинную белую дорогу, по которой везут тело капитана Енакиева, ели в сугробах, высокое небо, все засыпанное зимними звездами. Внезапно все меняется. Ели по сторонам дороги превращаются в седые плащи и косматые бурки генералов. Лес превращается в сияющий зал, а дорога — в громадную мраморную лестницу. Ваня устремляется по лестнице. Бежать ему трудно, но ему протягивает руку старик в сером солдатском плаще, переброшенном через плечо, в высоких ботфортах, с алмазной звездой на груди и серым хохолком над прекрасным сухим лбом — Суворов, сошедший с портрета. Он берет Ваню за руку и ведет его по ступеням все выше, туда, где на самом верху, осененный боевыми знаменами, стоит Сталин с бриллиантовой маршальской звездой, сверкающей и переливающейся из отворотов его шинели.

«Из-под прямого козырька фуражки на Ваню требовательно смотрели немало прищуренные, зоркие, пронизательные глаза. Но под темными усами Ваня увидел сурового отпов-

скую усмешку, и ему показалось, что Сталин говорит:

— Иди, пастушок... Шагай смелее!»

Так в жизни бездомного мальчика, потерявшего на войне семью, потерявшего близких ему людей, к которым он успел всей душой привязаться в армии, открывалась новая, широкая, далеко уходящая перспектива.

Повесть Валентина Катаева сильна не только цельностью развития. Она не менее сильна обилием положений, характеров и верных подробностей. Она сильна тем гуманистическим своим направлением, которое в литературе о войне должно занять выдающееся место. И я бы назвал ее необыкновенно талантливой, если бы не было на ней следа какой-то излишней легкости.

Нам уже теперь ясно, что в большой будущей литературе о войне не будет места чувствам уныния, безнадёжности и тоски. Эта литература должна нам помочь и поможет решить коренные вопросы искусства, поможет нам понять характер современного человека, характер нашего общества, его новой этики и нового ощущения красоты. Сознывая это, мы сейчас особенно чувствительны ко всему, что так или иначе поднимает эти вопросы.

В повести Валентина Катаева, при всем ее таланте и наблюдательности, при всей ее ладности или вследствие ее, ощущение правды иногда оттесняется ощущением водевиля. Авторский юмор и светлая ирония подчас направляются на создание почти театральной симметрии. И все же, не смотря на это, «легкий» талант Катаева, в иных случаях приводивший его к неудачам, на этот раз не подвел автора. В условной манере почти приключенческого произведения для юношества повесть «Сын полка» получила уверенные краски реализма. Она получила свечение изнутри — то сильное свечение человечности, которое так дорого нам и нужно нам для того, чтобы делом литературы мы могли участвовать в великом деле жизни.

## СРЕДИ СТИХОВ

(Статья 4-я)

Николай Браун — «Морская слава», М., Военмориздат, 1945.  
 Леонид Мартынов — «Лукоморье», М., «Советский писатель»,  
 1945. Александр Яшин — «Земля богатырей», Л., «Молодая гвар-  
 дия», 1945. Степан Щипачев — «Домик в Шушенском», М.,  
 «Советский писатель», 1945.

В одном из стихотворений А. Яшина рассказывается, как отряд морской пехоты совершил вылазку, чтобы отбить у немцев школьную библиотеку, — так красноармейцы стосковались по книгам. Им удалось захватить книги Горького, и вместе с ними «окружать врагов, уничтожать, шло и его собрание сочинений».

Эпизод этот очень характерен. Слово в дни войны было подлинным оружием, и в истории мировой литературы нельзя найти примера, хоть сколько-нибудь приближающегося по своему исключительному размаху к тому, с которым наша литература, и в частности поэзия, служила делу защиты страны. В момент боя, подчас в трудную минуту, слово поэта воздействовало не только благодаря своей непосредственной художественной силе, но и потому, что оно было неразрывно связано с конкретной ситуацией, с определенным человеческим обликом данного героя, которого подчас лично знали участники сражения. И они вкладывали в произведение и свой пафос, свой эмоциональный подъем.

Сейчас в нашей поэзии начинается своеобразный процесс «отстаивания», «оседания» поэтического материала. Часть его приобретет значение исторического документа, отражающего те или иные настроения и события периода войны. Он сыграл свою роль и заслуживает и уважения и высокой оценки. Но вне той живой обстановки, в которой он создавался и звучал, вне аудитории, обогатившей его своим пафосом, окажется, что он теряет ту художественную убедительность, которая продлевает самостоятельное существование произведения. Самостоятельное существование выпадет на долю только тех произведений, которые по глубине обобщения, по силе выражения мысли и чувства оказались более стойкими. В этом процессе «естественного отбора» поэтических произведений эпохи войны нет ни-

чего, если так можно выразиться, предсудительного для тех стихотворений и поэм, за которыми сохранится лишь документальное значение. Они были нужны и полезны, они сохраняют историко-литературный интерес, но полновесного эстетического ощущения не вызывают.

Сейчас как раз и начинается этот процесс отбора. Выходят книжки стихотворений, в которые поэты включают свои произведения военных лет, книжки, каждая из которых представляет собой своеобразную поэтическую летопись войны. Понятно стремление поэта дать наиболее полное представление о его работе за время войны, но понятно и право читателя еще раз взвесить отобранное поэтом, как бы он ни был строг к себе.

А. Сурков, например, в свою книгу «Песни гневного сердца», являющуюся одной из наиболее значительных за последние годы, включил далеко не все из тех двенадцати его книжек, которые вышли за время войны. И все же, если бы книга была сокращена, и сокращена весьма и весьма значительно, она бы только выиграла, хотя и выпущена поэтом с двадцатилетним опытом работы в области поэзии и человеком, разносторонне и полно вбравшим в себя военный опыт этих лет.

Это «отстаивание» поэтического материала, накопившегося в дни войны, поучительно и потому, что позволяет ощутить, — что же определяет его стойкость, почему одни стихотворения остаются жить в последующие годы, а другие не могут сделать этого шага в будущее.

Вот перед нами книга Н. Брауна «Морская слава». Н. Браун — опытный поэт, честно потрудившийся в дни войны. В кратком предисловии, которое издательство предпослало его книге, отмечено, что творчество Брауна «тесно связано с жизнью и героической деятельностью Краснознаменного

Балтийского флота: Н. Браун в тяжелое время блокады Ленинграда являлся постоянным сотрудником газеты «Красный Балтийский флот». Поэт своим оружием — словом, принимал деятельное участие в борьбе с немецкими захватчиками.

В книге собраны стихи за 1941—1944 годы, они говорят о событиях, значительность которых не требует пояснений: о Ленинградской блокаде, об Одессе и Севастополе, о Таллине. Нельзя упрекнуть поэта в пренебрежении к стихотворной форме: стих его хорошо организован, четок и звучен.

И в то же время, закрывая книгу Брауна, не чувствуешь внутреннего обогащения ею. К тому, что известно читателю и перечувствовано им, она не добавляет виденного автором. Все, о чем говорится в книге,—верно, со всем мы согласны, но в то же время мы в ней не чувствуем в полной мере той индивидуальности поэта, которая придает его словам неповторимое своеобразие, художественную конкретность и убедительность. Перед нами стихи, в которых не всегда есть поэзия.

Нам не забыть, как мы стояли  
На рубежах своей земли,  
Как мы дрались тогда за Таллин,  
Как шли в атаку корабли...  
В дыму разрывов меркли дали,  
Бомбежек вой стоял в ушах,  
И клятву родине мы дали,  
Что не отступим ни на шаг.

Здесь все на месте, нет только поэта: он не показал живых людей, событий, деталей, не раскрыл своих переживаний, ими вызванных, он только в самых общих чертах обозначил при помощи своего рода поэтического пунктира и ситуацию, и действия, и людей. Но пунктир этот в состоянии наметить и сам читатель, а от поэта он ждет линий и красок, которых в книге Брауна мало.

Плеханов говорил когда-то, что поэт не доказывает, а показывает. У нас сейчас многие литераторы упростили это положение: они и не доказывают, и не показывают, они просто называют то, о чем хотят рассказать. Как во времена Шекспира зритель видел на сцене дощечку с надписью, обозначавшей, что перед ним лес, так мы подчас читаем романы с надписью: «Здесь — характер советского офицера», или стихи с обозначением пере-

живания, которое должна вызвать данная ситуация. Вот это художественное упрощение,—подмена конкретности риторикой,—и дает себя знать в книге Брауна. В свое время — в боевой обстановке — те общие формы, в которых он откликался на данные события, звучали, вызывали в аудитории достаточный отклик, а вне этой аудитории они оказались недостаточно художественно емкими и, называя чувства поэта, не передают их читателю. Вот стихотворение «Балтийские орлы»:

Шумит на ветру величаво  
Овеянный доблестью флаг,  
Далеко разносится слава  
О наших балтийских орлах.  
Они под грозой не дрожали,  
Их крылья не знали преград  
В сраженьях за Эзель и Таллин,  
В боях за родной Ленинград.

Балтийцы и те живые чувства, которые вызывали они в поэте — свидетеле их подвигов, опять-таки только названы Брауном.

Вот стихи, говорящие о первом налете на Севастополь в ночь на 22 июня 1941 года.

Был час тишины и покоя,  
Но дрогнула звездная тьма,—  
И бомбы тяжелые, воя,  
На мирные пали дома.

Прожекторы били лучами,  
Зенитная встала стена.  
Над городом, над кораблями  
Ударила громом война.

Снова перед нами пунктир. Подлинное содержание стихотворения, которое, так сказать, имело быть написано поэтом, осталось где-то между строк, лишь называющих то, что должно быть показано конкретно: ужас внезапного налета, гнев, возмущение, мужество наших людей.

Этот своеобразный гипноз общих мест, традиционных, громко звучащих, но мало конкретных фраз не позволяет Брауну овладеть тем материалом, которым он на самом деле располагает и о котором, несомненно, может выразительно и сильно рассказать. Риторика, к большому сожалению читателя, вытесняет из его книги поэзию. Она была поэтична, эта риторика, в момент ее возникновения, это и ввело в соблазн автора. Но поэтичность эта была нестойкой, и сейчас стихи, включенные в книгу «Морская слава», мы читаем с ува-

жнем, но без художественного интереса к ним.

Показательно сопоставление с книгой Брауна книги А. Яшина «Земля богатырей». У Яшина меньше литературного опыта. Он уступает Брауну в стихотворной технике. Вдобавок он неудачно построил свою книгу, включив в нее свои довоенные стихи и не датируя стихи второго раздела. При более строгом отборе книга была бы меньше, но более цельной и законченной. И все же лучшие стихи Яшина затрагивают читателя гораздо острее, чем стихи Брауна. Это происходит потому, что Яшин в тех случаях, когда он преодолевает искушение злого духа риторики, также часто не дающего ему покоя, находит живые и в то же время характерные подробности боев, умеет показать в стихах свою собственную индивидуальность.

Поэтическое дарование Яшина отличают эпичность, умение видеть людей, запоминать детали, придающие стихам осязаемость, конкретность, действительность.

Бронекатер, выводящий на Волге из-под огня корабль на буксире, трижды перебиваемом вражескими снарядами, и командир его, зажавший в зубах «давно не дымившую трубку», матросы, которые «второпях своим телом пробонны закрывали», — это живая, а не риторическая картина, рисующая русских людей в бою так, что они остаются жить в памяти читателя.

Запомнится картина встречи адмиралом возвращающегося из боя краснофлотского отряда, в котором было триста штыков:

Видать, его сердце сжалось:  
Он молча шагнул к ним,  
Он все уже знал,  
Но все-таки вздрогнул, когда  
увидал,  
Что девять их только осталось.

Лаконично и, верится, что точно рассказал Яшин о походе под обстрелом противника катера, груженого снарядами для Сталинграда.

Есть у Яшина и еще одна хорошая черта — своеобразный интеллектуализм его лирики, умение найти неожиданную сторону в изображаемом и выразить ее скупой и лаконично, иногда с юмором. Такая авторская усмешка, пробивающаяся вдруг в очень трудной обстановке, опять-таки

согревает стихотворение, делает его близким читателю. Идет обстрел Ленинграда, падают статуи, и Яшин мимоходом замечает —

Шарахаются бронзовые люди,  
Живой проходит, не оборотясь.

Или о пленных немцах, которых ведет по Сталинграду моряк:

Их мало сжечь,  
Но свят закон солдата:  
Давай им хлеба, мяса и воды.  
Моряк отводит дуло автомата  
Чтоб,— не дай бог,— не натворить  
беды.

Этот жест моряка, как и недымящаяся трубка в зубах капитана, определяет подлинную поэтичность стихотворения, его жизненную убедительность.

В этих стихотворениях ценность книги Яшина, хотя, как говорилось, он загроздил свою книгу лишними стихами, в которых дают себя знать его слабые стороны: многословие, склонность к вычурности, риторичность. Непонятно стихотворение «Тетерева», в котором фашистский снайпер, сидящий на дереве, зачем-то токует, выдавая свое местопребывание, и дает автору свалить его с дерева метким выстрелом.

Очень странное впечатление производит такое обращение к милой:

Неприветлива, дика,  
С ночи не расчесана,  
Словно дочка лесника,  
Ходишь полем босая.

Вряд ли нужны в стихах такие подробности, как, например, прелые портянки, такие слова, как «домашнивать» быт и т. п.

Часто очень упрощает Яшин то, что хочет сказать. Рисуя жизнь до войны, он говорит: «В кино опоздаем — на сутки горе», а в обращении к подруге заявляет:

Ты и Россия для меня одно...  
Ты спину перед недругом не гнешь,  
Как и Россия, не кицишься славой.

При всем уважении к адресату, имя, отчество и фамилия которого указаны в посвящении стихотворения, такое отождествление представляется далеко недостаточно обоснованным.

Все эти примеры, как и очень многие, подобные им, свидетельствуют о том, что Яшину надо затратить еще очень много сил для того, чтобы его

поэтический голос не срывается. У него есть главное — глаза, которые умеют хорошо видеть, ум, обобщающий виденное, но еще нет той бесспорности поэтического выражения, которая свидетельствует о зрелости мастера.

Ощущение именно этой бесспорности возникает у читателя, как только он открывает книгу Л. Мартынова «Лукоморье». Мартынов выработал свою поэтическую интонацию еще до войны. Его «Поэмы», выпущенные «Советским писателем» в 1940 году, доказали, что даже четырехстопному ямбу — размеру, который насчитывает уже более двухсот лет и является наиболее употребительным в русской поэзии, можно придать новое звучание. Ослабляя междустроичную паузу при помощи длинной строки, включающей две-три обычных строки, наращивая одинаковые рифмы, Мартынов достиг большой синтаксической свободы стиха, позволяющей строить гибкую и разнообразную фразу:

Они палят, А с дальних гор,  
от смеха прикусив губу,  
Лихой джигит глядит в упор  
на лушечную стрельбу  
через подзорную трубу.  
Приобретенная в Китае труба  
имеет золота драконовидную  
резьбу.

Вот эта необычность и чистота поэтического голоса Мартынова привлекает нас в «Лукоморье», наряду с основной темой книги, которую можно определить, как тему высокой человечности.

В лирическом герое «Лукоморья» Мартынова есть что-то от романтичности Дидея-птицелова Э. Багрицкого. Он разговаривает с деревьями, он играет на флейте, и люди идут за ним в сказочное «Лукоморье». В первый раз в жизни встречает он женщину в доме скучного художника, и вот она уже уходит с ним.

Подсолнух!  
Из чужого огорода  
Вернулся ты  
В родимые поля!

Сначала он кажется несколько странным — герой «Лукоморья».

Замечали —  
По городу проходит прохожий!  
Вы встречали —  
По городу ходит прохожий,  
Вероятно, приезжий, на нас  
не похожий?

Поведение его необычно:

— Как ваше здоровье, —  
спросил я, — деревья?  
Деревья молчали вначале.  
Скучали? Презреньем встречали?  
Едва ли.  
Они тосковали.  
Вдруг скрипнула ива:  
— Здорова!  
И сосны ворчливо:  
— Мы живы!

Он странствует по реке Тишине, он все спрашивает — «Но где же оно, Лукоморье? Где оно, Лукоморье?» Но вот, говоря с деревьями, он скажет мимоходом:

Вы часто, деревья, в печах  
пламенели:  
Но я вам сказать без смущенья  
осмелюсь, —  
И сам я горел, чтоб другие  
согрелись!  
И я топором был под корень  
подрублен,  
Но не был погублен, я не был  
погублен!  
И сам я летел оперенной стрелой.

Лукоморье Мартынова — это страна сказочного счастья, которая оказывается и Доном, и Уралом — любым куском земли, где живет русский человек, борющийся за свое счастье и свободу. Так романтика и сказочность книги Мартынова, придающие ей такой своеобразный колорит, сближаются с жизнью, получают глубокое реальное содержание. Но вот что странно: как только Мартынов уходит от своих излюбленных тем, его богатый и полный поэтический голос вдруг глохнет, меняется, теряет и свободу и своеобразие. В стихах на военные темы Мартынов почти не узнаваем, ему изменяет точность языка, не помогают и излюбленные им повторения:

От Эгейских теплых вод  
И до Альп, что в снежном  
мраке,

Вурдалаки! Вурдалаки!  
Упыри,  
Могил цари!..  
Их осиновым колом  
Протыкали по поверью.  
Это было. Но — в былом...  
Вурдалацкую империю  
Уничтожит гнев людской.  
Стая снова не слегитя.

Тот кошмар не возвратится,  
Шевеленье прекратится  
Под могильною доской!

Ты на нас пошел войной,  
Вурдалак, гадючье око!  
Прямо в грудь нам, вор ночной,  
Впились жалом ты глубоко!

Этот упырь, почему-то вооруженный жалом, «иммерья», «шевеленья под доской» и пр.— просто несоизмеримы с тем, что мы знаем о Мартынове. Или такая трагедия:

Тевтон на Волге!  
Думал он  
Казань завоевать.  
Наверно, норовил тевтон  
И дальше побывать—и т. д.

Почему же перед нами в пределах одной небольшой книги такие разительные противоречия, настоящее, густое, отстоенное мастерство уже зрелого поэта и — рядом с ним — надуманные, посредственные стихи? Ответ ясен. Если содержанию поэзии Яшина зачастую еще не хватает мастерства, то мастерству Мартынова не хватает содержания. Он создал свой, очень узкий круг образов, перевел его в романтически-сказочный (или как раньше — в исторический) план и для него нашел краски и линии ясные, и отчетливые.

Но стоит ему выйти за этот круг, как выясняется, что для более широкого содержания ему не хватает голоса. И это лишает пока творчество Мартынова того большого значения, которое оно могло бы иметь.

Одним из немногих произведений последних лет, в котором это соотношение мастерства поэта и задач, которые он поставил перед собой, получило в достаточной мере полное разрешение, является поэма С. Щипачева «Домик в Шушенском».

Уже много лет Щипачев работает над своей основной темой — раскрытием внутреннего мира советского человека с его новым отношением к жизни, с новым решением, казалось бы, вечных лирических тем: любви, старости, смерти. Не случайно накануне войны лирика Щипачева в осо-

бенности привлекала к себе внимание читателей и критики. Стремление Щипачева передать самые интимные чувства человека определяло и его поэтический стиль: сжатый, афористический, богатый выразительными деталями. Некрасов когда-то писал:

Стих, как монету, чекань,  
Строго, отчетливо, честно;  
Правилу следуй упорно:  
Чтобы словам было тесно,  
Мыслям — просторно.

Эти слова могут быть поставлены в качестве эпиграфа к поэме Щипачева. О ней уже говорилось в нашей прессе, нам важно здесь подчеркнуть, что удача Щипачева — это удача мастерства, подчиненного задаче выражения большого содержания. Чувствовать так, как чувствует герой поэмы Щипачева, может только советский человек, выросший в советской стране, воспитанный партией, осящающий свою судьбу, как судьбу всего народа, всей страны:

Еще я только что на свет родился,  
А он уже решал судьбу мою —

говорит Щипачев о Ленине, раскрывая эту кровную связь человека и народа человека и партии, выражающей помыслы и чаяния народные. И для выражения этих больших чувств Щипачев сумел найти и выразительные детали и яркие поэтические формулировки, которые делают его поэму осязаемой, рельефной, художественной, убедительной. Ленин, который смотрит в двадцатый век «сквозь вьюги девятнадцатого века», когда еще ничего не знают о своем будущем мальчики — Чапаев и Киров, юноша Сталин, идущий по Тбилиси, чтобы встретиться с Лениным и стоять с ним «в тысячелетях рядом», — все это найдено и выражено с подлинной поэтической силой, потому что здесь мастерство поэта оказалось на уровне его кругозора. В этом отношении удача Щипачева глубоко поучительна, особенно в свете опыта тех поэтов, о которых мы говорили выше.

## ВРЕМЯ, ПОЭТ, НАРОД

Поэт выпустил книгу литературно-критических статей. Это в традициях русской культуры (вспомним хотя бы статьи Александра Блока, Валерия Брюсова, Иннокентия Анненского, Владимира Маяковского). Но за последнее десятилетие поэты не баловали читателя исследовательскими, аналитическими работами. Если они и выступали иногда со статьями и речами, то как-то само собой подразумевалось, что выступления эти для них, поэтов, нечто второстепенное, они не собирали их в книги, не переиздавали. И хотя в выступлениях Н. Тихонова, А. Суркова, И. Сельвинского и других по вопросам поэзии было немало ценного и интересного, их доклады и речи терялись в комплектах «Литературной газеты» или в пыльных папках стенограмм писательских пленумов, конференций, дискуссий.

Антокольский нарушил этот установившийся за последнее время обычай. Он собрал одиннадцать своих статей — О Лермонтове, Державине, Лесе Украинке, Эдуарде Багрицком, Николае Тихонове, Борисе Пастернаке, Миколе Бажане, Алексее Суркове, Леониде Первомайском и о некоторых общих вопросах нашей культуры и литературы. Эти статьи в свое время с интересом читались на страницах газет и журналов. Собранные вместе, они составили книгу небольшого формата, объемом в 144 страницы<sup>1</sup>. Но смысл, который они приобрели, больше, чем этого можно было ожидать от сверстанных воедино злободневных публикаций.

Да, эти статьи писались от случая к случаю, — к столетней годовщине со дня смерти Лермонтова, к двухсотлетней дате со дня рождения Державина, с прямыми хронологическими поводами и без них. Но как же далек Антокольский от того поведенного литературоведческого графоманства, которое иногда становится просто невыносимым в дни торжественных юбилеев!

У Антокольского есть живое чувство культурной преемственности, литературного историзма. Но он — страстный современник, публицист до мозга костей. И сочетание этих двух качеств выразилось в его статьях с такой силой, с какой это не часто бывает в нашей литературной критике.

Здесь уместно вспомнить Маяковского. Он был весь в политике, весь в сегодняшнем дне. Он жил им и ради него. Поэтом, когда перед великим поэтом вставала необходимость писать стихотворение по прямому и только что возникшему жизненному поводу, он брал в руки перо, и рифмы неукротимо и неожиданно рождались, облекая в железную раму поэтической формы публицистическую мысль ротора и трибуна. В этом была естественность, простота и необходимость, присущие настоящему искусству. Захоти даже, Маяковский не мог бы жить и творить иначе. Злоба дня была его стихией. Лирическую мысль рождало в нем и гражданское негодование по поводу плохого качества носков, и восхищение размахом работ пятилетки. Источник его словесного образного запаса был неиссякаем, потому что метод и замысел у Маяковского совпадали почти идеально.

В работе Антокольского над историко-литературными этюдами есть та же традиция — восприимчивость автора к данной теме, доведенная до очень высокого совершенства. Только органически ощущая русскую культуру как единое и многообразное целое, зная все извивы ее сложного пути, можно с таким полным сердцем, с такой подлинной публицистической страстью откликаться на литературные юбилеи, как это делает Антокольский.

Вот под его критической линзой творчество Лермонтова. Антокольский берет его емко, широко, вместе со средой, родившей поэта, с временем, с эпохой, наконец, с нашей современностью. Казалось бы, поэт, взявшийся за перо критика, обнаружит себя узким профессионалом. Но нет, Антокольский менее всего склонен заниматься деталями формы, рифмами и аллитерациями, которые столь влекут иногда нашу академическую профессию. Форму он ощущает как дан-

<sup>1</sup> П. Антокольский. «Испытание временем». Статьи. М. «Советский писатель». 1945.

ность, как подтекст лирики, философии, как ее неизбежное и непотворимое обличье, но не более. Его как исследователя интересует другое, — связь поэта — в данном случае Лермонтова — с поколением, с нацией, с эпохой. И так как Антокольский много знает, он умеет выбрать не случайные, не внешние черты гения, а его суть. Он умеет расплатать ее и почти анатомически-наглядно, осязаемо показать читателю, и, что самое удивительное, — при обнаженной ясности мысли исследователя, нет ощущения схематизма, заданности, условности, которые часто возникают при чтении литературоведческих статей.

Антокольский говорит о Лермонтове, утверждая, что воспоминание о нем «гораздо непосредственнее и горячее», чем юбилейно-академическое чествование памяти великого русского гения, что оно «касается судеб всей нашей культуры». Это очень правильно. И потому образ Лермонтова нарисован Антокольским в жестокой полемике с теми, которые хотели бы подменить живого Лермонтова стилизованным Печориным или Грушницким. Антокольский рисует Лермонтова как художника-новатора с огромным революционным темпераментом, как человека, обладавшего острым и верным чувством своего времени. Антокольский приводит стихи Лермонтова:

Я жить хочу! Хочу печали  
Добру и счастью назло.  
Они мой ум избаловали  
И слишком сгладили чело.  
Пора, пора насмешкам света  
Прогнать спокойствия туман.  
Что без страданий жизнь поэта  
И что без бури океан?..  
Он хочет жить ценою муки,  
Ценой томительных забот.  
Он покупает неба звуки,  
Он даром славы не берет.

На этом отрывке Антокольский и строит свою концепцию Лермонтова. Сжатая характеристика Лермонтова замечательна почти дерзкой точностью:

«В Лермонтове с самого начала росло и накапливалось деятельное, самостоятельное, не гнущееся, упрямое, жесткое, не знающее компромиссов. Даже декабристы, сосланные на Кавказ, встретаясь с ним, удивлялись прямо и резкости его суждений и не умели с ним согласиться. Они были наименее и благодущнее, несмотря на

видимую горечь и безвыходность собственной политической судьбы».

Восхищение Россией, всем национальным, глубокая современность Лермонтова, его ненависть к николаевскому режиму и безмерная любовь к людям — живым своим сверстникам и соотечественникам — раскрыта Антокольским глубоко, точно, остро и по-новому.

«Его прежде всего занимала правда — трезвейшая и горчайшая, ничем не прикрашенная, — пишет Антокольский о Лермонтове. — Его громоносные прозаизмы, его жестокое, упрямое красноречие продиктованы той же страстью к правде, как бы тяжела она ни оказалась».

Возникая из строк бережно подобранных цитат и скупых биографических сведений, рассеянных по статье Антокольского, перед нами встает образ Лермонтова, вдруг становящийся необычайно близким современности, человека чуть ли не нашего поколения, в особенности тогда, когда Антокольский рисует его как воина, как храброго офицера, как человека, борющегося за великую правду братства народов. Мы как бы узнаем наших лучших людей в Лермонтове. Но это не гримировка великого поэта под члена С. С. П. В статье Антокольского нет и тени вулгаризаторства или поспешных сближений свидетеля века минувшего со свидетелем века нынешнего. Нет, это просто заново, по-советски прочтенный Лермонтов, но Лермонтов подлинный, живой, через магический кристалл аналитической мысли вдруг приближенный к нам, как приближает предметы совершенный бинокль или артиллерийский дальномер.

Статья о Лермонтове — лишь пример, не исключительный для книги Антокольского. Отмечать это радостно: не часто можно сказать о литературно-критической книге, что она читается с волнением и глубоким поэтическим интересом.

Не менее, чем статья о Лермонтове, хороша статья о Державине, в которой Антокольский раскрывает образ замечательного поэта допушкинской поры, «истинного сына просветительного века». В Державине Антокольского занимает главным образом то, что осталось живо в его стихе в его творениях для нас. Очень интересно сравнение работы Державина с работой Маяковского, Хлебникова, Пастер-

нака. И так же как Лермонтова, Антокольский показывает Державина в широком обрамлении его эпохи.

«...Поэзия Державина для современников звучала прежде всего как трубный голос патриотического одушевления. Он был современником Суворова и слagal во славу русскому оружию и русской храбрости великолепные, мощно звучавшие оды».

Подробно раскрывает Антокольский реализм Державина, его преодоление условного классицизма:

«Даже мифологические образы ожили у него: их мраморные лики обернулись румяными, веселыми лицами русских рязеных».

Живую пластику державинского стиха Антокольский чувствует как поэт — остро, осязаемо. Из академического пугала, каким творчество Державина представлялось еще недавно некоторым пылким, но недалеким видным псевдоноваторам, поэт XVIII века становится тем, что он есть, — неотъемлемой частью русской культуры, творимой смелым, самостоятельным и прозорливым умом.

По-особому вызывает Антокольский с современностью Лесю Украинку, выдающегося украинского народного поэта. Эта связь идет у Антокольского через противопоставление творчества Леси Украинки символизму, декадентскому искусству, современницей и врагом которого она была.

Нет нужды подробно пересказывать эту статью. В ней хочется отметить тот же пафос здоровой и ясной публицистичности, которая отличается уже разобранные этюды Антокольского. Русская и украинская классические культуры для него — сестры. Их связь с нашими днями ощущается Антокольским как кровное родство. Интереснейшим образом эта черта литературного мировоззрения Антокольского выступает в его статье «Торжество нравственной силы», написанной как животрепещущий отклик на внезапно узнавшие нами дни комсомольского подполья в оккупированном немцами городе Краснодаре. После того как Антокольский просто и горячо рассказал о подвиге Олега Кошевого и его товарищей, он задумывается над причинами, породившими такую чистоту идейного содержания и такую беззаветную преданность делу народа, которую проявили юные члены «Молодой гвардии». Он ставит вопрос о живых предпосылках победы

социалистического общества над немецкими поработителями.

«Тот, над чьим отрочеством сияло солнце Пушкина, — навеки полюбит красу родной земли. Тот, кто в юности вчитывался в страницы Горького, — никогда не будет рабом. Тот, кто идет за Сталиным, — борется до конца и побеждает».

Это сказано красиво, афоризмы падают один за другим, как серебряные монеты. Но дело не только в красоте риторической формы, которой Антокольский владеет артистически. Думается, что точности этих фраз автор обязан прежде всего своей ясной и очень правильной мысли о неразрывной связи русской культуры с бытием народа, с его историческими судьбами, с его этикой борьбы, с его поведением в самые тяжелые и ответственные дни политических, военных и социальных потрясений.

Нашествие немцев на русскую землю было самым гигантским испытанием за все время существования славянских государств. То, как это испытание наш народ вынес и как он вышел из него всемирным победителем, — еще будет предметом научных исследований и изысканий на протяжении веков. Кровь, отданная Ленинградом, и бессмертные руины Севастополя, битва у Волги и штурм Берлина — это исторические феномены, каких еще не знал мир.

Статьи Антокольского написаны в дни этих событий. Но современность не просто фон, на котором развивается мысль исследователя. Нет, его работа пропитана духом этих событий, как бывает пропитана кровью земля боя.

Доброжелательная, но строгая по своему существу критика военных стихов Пастернака, эпически спокойный рассказ о военной судьбе Бажана — украинского писателя и сталинградского солдата, превосходно написанный этюд о боевом пути Николая Тихонова, горячее слово о своем брате по перу — Суркове, — разнообразны отклики Антокольского на поэзию наших дней. Но везде он верен себе, а значит, прежде всего верен поэзии. Он отыскивает подлинные удачи и находки своих поэтических сверстников и собратьев, он радуется их успехам, он строг и выскателен к их недостаткам, потому что у Антокольского есть чувство горячей заинтересованности в судьбах родной

ему русской, советской, социалистической культуры, потому, что он хочет, чтобы наша поэзия была не только агитатором и летописцем, но и духовным портретом поколения, и составной частью народного бытия. Искусство и жизнь — вот предмет размышлений Антокольского. В статьях о современной литературе, — нет, шире, — о нашей литературе как части советской действительности, части многообразной деятельности свободного человека — Антокольский воинствующий исследователь. Через все его статьи проходит идея непримиримости фашизма и культуры. Это для него не голый и абстрактный лозунг, а всем нутром поэта ощущаемая правда жизни, правда современной истории.

В народе, в живой связи с ним, с его судьбой и борьбой видит Антокольский призвание и самый смысл деятельности поэта.

«Европейская культура, — пишет он в дни войны, — обязана своим сегодняшним беспросветным мраком не только прямым носителям свастики как символа этого мрака, но и тем ленивым и нелюбопытным, творчески благополучным и пресыщенным интеллигентам, которые «ничего не забыли и ничему не научились». Для одного бомбоубежищем служила память, для другого — коллекция фарфора, для третьего — собрание собственных сочинений, для четвертого — экспериментальная лаборатория зауми, пятый мог воскликнуть:

Я не знаю истины, годной для  
других.  
Только мимолетности я влагаю  
в стих.

Всех этих людей объединяет одна роковая черта: неприкрытая жажда существовать за счет народа и вне народа.

В этой страстной формуле отрицания заключен большой позитивный смысл. Выступая против Марселя Пруста и ему подобных, которых Антокольский справедливо считает лично виновными в нравственном упадке и

политическом падении перед фашизмом ряда европейских стран, он провозглашает жизнь, оптимизм, свободу, культуру, прогресс. Это — не новые понятия, и пошлость буржуазного мышления придала им на время — в конце XIX, начале XX вв. — даже тривиальный оттенок. Но эти понятия наполнились новым смыслом в эпоху социализма. Они стали тройные дороги советскому человеку, ибо он пролил свою кровь не за отвлеченный смысл этих понятий, а за реальные ценности. Жизнь означала для него спокойное и уверенное трудовое существование; оптимизм был для него формой отношения к настоящему, которое он строил, и к будущему, за которое он дрался, и к победе; свобода означала для него изгнание немецких «господ» со своей земли; культура была для него заключена в творениях Ленина и Сталина, Пушкина и Маяковского, Льва Толстого и Репина; прогресс — в возможности завоевать стратосферу и Северный полюс, построить электростанции в пустынях, оросить миллионы гектаров мертвых песков.

Вот этот человек — лирический герой литературно-критических статей Антокольского, ибо они написаны от его имени и во имя его счастья. Эти статьи создавались в дни Великой Отечественной войны советского народа против немецких захватчиков. Это ценно вдвойне: во-первых, мы воевали и творили культуру одновременно, и, во-вторых, на мысли наших людей лег нестираемый след великого времени. Не сухой архивариус и не «ученый» доцент, — их писал поэт и большевик. В этом их главная, непреходящая ценность.

Вероятно, в этих статьях есть и недостаток. Пусть их с лупой разбирают любители чистописания и профессиональные литературные педанты. Но литература наша может быть благодарна Антокольскому: он показал, что оружие литературной критики может быть острым оружием воинствующей мысли и воинской победы.

## МОДЕЛИ И ЛЮДИ

Не так давно со страниц критического отдела № 2—3 «Нового мира» читатель услышал голос критика, который сыпал ядовито-научно-критически-педагогическими замечаниями в адрес героини повести В. Герасимовой «Байдарские ворота».

— Карриатура на советскую школьницу.

— Гордячка и мизантропка.

— Нравственная пустышка.

— Основное в характере Ольги Куроченко — гордость.

— Из гордости Ольга никогда не признает своей неправоты и, в лучшем случае, остается в состоянии задумчивости.

— Из упрямого желания все делать не по-людски, она, окончив вторую ступень, не стремится поступить хотя бы в сельскохозяйственный институт, а предпочитает самообразование.

И наконец итог — уже в адрес автора повести:

«...Забава эта вызывает не улыбку, а негодование».

Откуда бы «в состоянии задумчивости», спросит себя читатель, взяться такому урагану негодования в нашей даже слишком спокойной критической атмосфере? Ведь «прощаль» же и даже, по его собственному признанию, «охотно» прощаль критик «Нового мира» и «неполноту» и «неумение», и неровность, и сбивчивость рассказа многим и многим авторам. Чем же пробудила дремавшие в нем критические страсти повесть Герасимовой «Байдарские ворота»?

Тут нам на помощь приходит неумиряющая товарищ Зоя из «Педагогической поэмы» Макаренко. «Неполнота», «неумение» — все это мало беспокоит ее научно-педагогическое сердце, — она ругает за идеалы:

«С вершин олимпийских кабинетов... видно только безбрежное море безликого детства, и в самом кабинете стоит модель абстрактного ребенка, сделанная из самых легких материалов: идей, печатной бумаги, маниловской мечты» (А. Макаренко, «Педагогическая поэма»).

Непохожесть реальных, живых детей на эти модели абстрактных социаловосовских «ребенков» — вот тот грех, которого не в силах простить ни одна

товарищ Зоя в мире, грех, который неизменно и неизбежно приводит ее в состояние запальчивости и раздражения.

В повести Герасимовой А. Макаров наткнулся как раз на такую несхожесть описанного характера с социаловосовской моделью. Отсюда, как говорится, и все качества.

Правда, модель, за точное следование которой А. Макаров готов «охотно прощать» писателям все слабости их творений, не имеет сколько-нибудь уточненного положительного содержания. Зато А. Макаров весьма детально выяснил, какими чертами не должна обладать эта модель, дабы он согласился признать ее за живую советскую девушку — героиню Великой Отечественной войны.

Так как мы согласны с А. Макаровым в том, что важнее всего в связи с повестью «Байдарские ворота» обсудить именно этот вопрос — вопрос о содержании человеческого идеала, который утверждает наша литература, — мы и последуем за ним по этой основной линии его рассуждений, оставив в стороне все другие вопросы. Тем более, что по части этих других вопросов спорить с А. Макаровым почти не нужно: наличие в повести Герасимовой многих слабых мест бесспорно, бесспорна недорисованность, схематичность второстепенных персонажей, вроде Димы Кошкодамова, бесспорно, что описание событий военного времени в некоторых местах повести схематичны, бесспорны и некоторые другие частные неудачи автора. Макаров занялся выяснением этих частных неудач добросовестно, даже с известным вдохновением, — вероятно, это принесет свою пользу, как всякое выяснение недостатков всякого литературного произведения. Нам, в частности, это полезно уже тем, что освобождает от обязанности говорить о литературных недостатках «Байдарских ворот» и дает возможность обратиться прямо к основному вопросу.

Итак, какой же не должна быть, согласно макаровской модели, советская девушка, становящаяся героиней Великой Отечественной войны?

Прежде всего, в ней не должно быть гордости, ибо из гордости, как

утверждает А. Макаров, проистекает и «самоунижение и презрение к окружающим», непозволительные, разумеется, для героини. Второе табу наложено А. Макаровым на упрямство. И впрямь, помилюйте: через каких-нибудь два-три года человеку предстоит совершить героический подвиг и вдруг... упрямство. Макаров даже считает, что именно оно довело героиню до такого, явно несовместимого с героическим характером сумасбродства, как занятие самообразованием. Не должна, далее, модельная девушка выражать и презрение к банальности, пошлости, мешанству... Не Маяковский же она, и не Ильф и Петров. Разве должна, разве может такая девушка обзывать, например, «курносый иднотом» советского молодого человека за то, что, прощаясь, он говорил «чию», разумея: «честь имею кланяться», или «будьте уверены» и тому подобные безобидные вещи? Разве должна, разве может будущая героиня, хотя бы и в семнадцать лет, издеваться над банальностью эпитета «лазурный» или над «мещанством» городских сплетников? Не должна она и обижаться или оскорбляться, когда возникающее в ней, еще ею самой не осознанное чувство первой любви городские пошляки делают предметом сплетни. А уж если и обиделась, то во всяком случае не должна опускаться до ребяческого протеста, до желания, назло лошлякам, демонстративно выразить презрение к этим сплетням — прийти в выходной день по набережной под руку с «героем» сплетни, еще босиком, в нарочито «невыходном» костюме! Все это Макаров считает дискредитацией образа советской девушки, будущей героини Великой Отечественной войны.

Составленная из «идей, печатной бумаги и маниловской мечты» макаровская модель будущей героини не должна, полюбив, стремиться к тому, чтобы всем своим поведением, интересами, даже мечтами, быть достойной того духовного идеала, который она увидела в полюбившемся ей человеке. А, Макаров называет это слабостью характера и считает предосудительным. Ни к чему так же влиять на будущую героиню заезшему подполковнику. Не старый, простите, режим!

Вынужденная остаться в местности, на которую надвигается немецкая ок-

купация, героиня не должна, по Макарову, читать исторические книги, хотя бы случайно попавшие ей в руки. Это, мол, неподходяще: до книги ли в такой момент? Но еще больше раздражает его, что Ольга, желая как-нибудь умерить страшную душевную тревогу старой тетки, начинает, так сказать, вульгаризировать историю, говоря:

«...Солдатне этой на твоих дорогих племянниц скорее всего просто наплевать. Подумаешь, героини какие!.. Полагаю, что прежде всего солдатня эта разными барахольными делами заинтересуется: «Три дня победителей»... Я вот как раз читаю,— говорит,— одну «Историю древнего мира...»

«Неудовольствие» Ольги,— иронизирует А. Макаров, комментируя этот эпизод,— жаждет широкого исторического обобщения происходящих событий, и девушка начинает с изучения «Истории древнего мира». И конечно, стоит ей прочесть первую книжку, как сразу же на ум ей приходят выводы и обобщения, завидные и для прожженного скептика. Сообразно натуре, она немедленно и выпаливает их в довольно разухабистых выражениях.

Когда, наконец, немцы придут в город модельной героини и поселятся в ее родном доме, она не должна издеваться над ними во внешне почтительных разговорах.

«Борьба Ольги с немцами в первое время оккупации,— пишет А. Макаров,— сводится лишь к издевательскому поддакиванию бредовым и совершенно стандартным измышлениям их жильца фестунг-коменданта Шульте».

Это выводит Макарова из границ терпения. «Словоблудие!» — кричит он на преступившую все прописи сощосовской морали «нравственную пуштышку».

Многого, многого другого не должна делать модель советской девушки! Всего не перечтешь!

Героиня «Байдарских ворот» явно и решительно нарушила все эти табу, за что и обрушились на нее с высот критического Олимпа все громы и молнии.

Рычагом, приводящим в движение небесные ядра и низвергающим на голову Ольги Куроченко эти громы и молнии, является «теория» так называемого «перелома», созданная в тиши все тех же олимпийских ка-

бинетов литературной критики, в которых сложилась и макаровская модель советской девушки.

Дело в том, что, создав на потребу составителей рассказов о героях означенную идеальную модель, не знающую ни упрямства, ни ребячества, ни гордости, ни увлечений, ни опрометчивых суждений, ни безрассудных желаний, ни сердечной боли, ни волнений, ни обид, критическая товарищ Зоя все же про себя, повидимому, знает, что подобных «героев» в обыденной жизни не существует. Но... тем хуже для обыденной жизни! Если не существуют в обыденной жизни, то рождаются к моменту совершения подвига. Вот это-то чудесное превращение человека в условную модель и называется на языке товарища Зои идейно-нравственным переломом.

А. Макаров, видимо, так искренно убежден в том, что уважающий себя писатель не может «пустить» в герои человека, не вполне очищенного от «скверны» реальных человеческих чувств, что, несмотря на все свое раздражение против автора «Байдарских ворот», критик — отдадим справедливость его критическому беспристрастию! — не хочет отказать писателю в последнем, так сказать, снисхождении. Виновна, — говорит он, — но... безусловно старалась «навязать» своей героине идейно-нравственный перелом. Не вышло — что делать! Но все же не будем подозревать, что хотя бы в замысле автор не собирался очистить свою героиню перед подвигом от всякой скверны, не собирался ее идейно-нравственно «переломить».

«Вчерашняя гордая королева», — пишет А. Макаров, — влюбившись и поспорившись с любимым, стала робкой Золушкой — это ли не перелом в характере! Но не об этом переломе мы говорим, а о том высоком нравственном, идейном переломе, в совершении которого старается нас уверить Герасимов и которого никак не сыщешь в повести».

К вопросу о переломе Макаров возвращается неоднократно, в разных вариациях повторяя одну и ту же мысль: хотела устроить перелом, но не вышло!

Как видно из обстоятельств дела, Герасимов не только не «старается» уверить нас ни в каком переломе, но, совершенно очевидно, считает, что никакого «перелома» не произошло,

и главное — не должно было произойти, и развитие характера Ольги было органическим, закономерным, а любовь к Махотину, влияние его бережного мудрого чувства к ней не «переломило», а лишь углубило, расширило ее духовный мир, стимулировало, убыстрило ее внутренний рост. Именно те черты характера утверждает повесть, которые угловато и противоречиво проявлялись в Ольге с первого нашего с ней знакомства. Именно они, углубившись и выравнявшись в трагических обстоятельствах войны, стали основой ее героического поведения.

Между тем читатель, привыкший, как известно, руководствоваться не научно-педагогическими критическими соображениями, а главным образом здравым смыслом, успел вместе с Махотиным полюбить Ольгу. Полюбить именно за ее неукротимую, прямую юношескую мятежность. А в Махотине с большим человеческим уважением он успел увидеть человека, «с которого молодежи можно и нужно брать пример, у которого есть чему поучиться в жизни, есть что перенять»<sup>1</sup>...

Чему же хочет читатель научиться у Махотина, почему столь дорогим и близким стал ему образ Ольги, что два молодых лейтенанта не удержались от упрека автору «Байдарских ворот» «за жестокости в решении судьбы Ольги, за то, что Ольга погибла, после всего, что вы описали про взаимоотношения подполковника Махотина и Оли»<sup>2</sup>?

Дело в том, что неискушенный в критических премудростях читатель чаще всего предпочитает реальных людей самым безукоризненным и безупречным моделям. А героиня повести Герасимовой, несмотря на все недостатки повести, представляет собой, пусть и неполно, бегло очерченный, но реальный человеческий характер, угловатый, неровный, но очень цельный в своем непосредственном страстном стремлении к большой и высокой правде, в органическом отвращении ко всякой фальши, ко всякой пошлости. В характере Ольги есть та правда духовного роста, та реальная

<sup>1</sup> Из письма в редакцию «Знамени» капитана Алимова, п. п. 44832.

<sup>2</sup> Из письма в редакцию «Знамени» лейтенантов В. Шамонова и А. Белюсова, п. п. 78131.

логика складывающейся героической личности, которая столь часто замечается даже в неплохих произведениях пресловутым «переломом» или никак не мотивированным механическим, мы бы даже сказали автоматическим, геройством.

Первое знакомство полковника Махотина и читателя с Ольгой начнется с того, что Ольга, лежа с сестрой на берегу моря, возмущает А. Макарова своим празднословием и нигилизмом:

«— Удивительно глупое море. Лазурное... Ты понимаешь, что такое: лазурное? — лениво спрашивает мальчишеский голос.

— Глубоко, — покорно отвечал другой, нежный и почтительный.

— Вообще никто никогда ничего не видел лазурного, — наставительно сказал мальчишеский голос. — Но так принято восхищаться — для красоты. И у красавиц из книг всегда лазурные очи!.. Как у тебя...

— У меня серо-голубые.

— Это неважно. По существу ты типичная девушка с лазурным взглядом...

— Оставь меня в покое, пожалуйста.

— Разве ты когда-нибудь испытываешь беспокойство?..»

А. Макаров негодуя «удивляется»: как могли, мол, подобные «глуповато-задиристые» суждения заинтересовать серьезного взрослого человека!»

А Махотина заинтересовали, разумеется, не сами суждения; юношеская строптивость мысли, прекрасное мальчишеское стремление обязательно самому, своим умом проверить правильность установившихся мнений, умственная активность, которая, вопреки убеждению А. Макарова, не ждет для своего проявления — особенно в семнадцать лет — обязательно великих и серьезных поводов, которая тем, напротив, и драгоценна, что всегда находится в действии.

Да и в этой первой встрече с читателем и в дальнейших разговорах, в спорах с Махотиным многое в суждениях Ольги идет от ребяческого желания по каждому вопросу иметь обязательно свое, несогласное с другими мнение; но все дело в том, что за этим ребяческим упрямством Махотин, а вслед за ним и непредубежденный читатель скоро увидели действительно самобытность формирующегося характера. Уже сама, по-

ставленная Макаровым Ольге в упрек, неспособность отделяться «признанием» своей неправоты, когда эта неправота ей доказана, а задумываться и над этой неправотой и над той правдой, в которой ее убеждали, говорит о наличии у Ольги той важнейшей человеческой черты, без которой нет вообще характера, — о сознательности, об ответственном отношении к своим и чужим убеждениям.

Пусть сейчас — в семнадцать лет — эти убеждения сводятся к тому, что Лермонтов лучше Пушкина, что «может быть, главное-то счастье для людей и состоит в том, чтобы иметь право хотеть любого — даже самого бесполезного», что «рубли и копейки», вообще все «экономическое» достойно презрения, что плохо быть «слишком правильным», что ходить в выходной день в линялом сарафанчике — значит, бороться с пошлостью... В дальнейшем, с годами, многие из этих ее ребяческих «убеждений» покажутся ей самой смешными и будут отброшены, но останется, разовьется та черта сознания, которая делает мнение убеждением и которая называется принципиальностью.

Да, ее презрение к «курносому идиоту» и прочим «пошлякам» было по-юношески чрезмерным. Но именно из этой органической непримиримости ко всем и всяческим «идиотам» и «пошлякам» росла и подлинная принципиальная непримиримость к врагу.

Да, Ольга по-юношески чрезмерно стремилась обязательно доводить до логического конца, до претворения в жизнь свои подчас опрометчивые и скороспелые выводы и «обобщения». Да, придя к какой-нибудь мысли, она немедленно, неукротимо, не останавливаясь ни перед какими препятствиями, воплощала эту мысль в действие, и прямота ее тогда нередко становилась прямолинейностью, а решительность безрассудством. Так было с ее планом демонстрации презрения к «курносому идиотам» и с дерзкими, грубыми упреками Махотину, отказавшемуся от этой демонстрации якобы из боязни «испортить карьеру». Но зато та же самая неукротимая решимость заставляет Ольгу в момент надвигающегося немецкого нашествия сначала пытаться вдвоем с сестрой, вынести на руках больную тетку, чтобы уехать потом, когда это оказалось физически невозможным, пы-

гаться отдать все без остатка имуществу семьи за подводу, а затем, когда и это оказалось недоступным, собрать всю себя — все свои способности, ум, волю, желания на одной единственной цели — нанести вред немецким оккупантам. И не думала при этом Ольга о том, как посмотрят на ее поведение будущие критики, — ей это было, как она любила, раздражая А. Макарова, выражаться: «не важно!» Важно ей было — так или иначе, какими угодно путями вредить, наносить ущерб, мстить врагу. И она это делала, как умела, — и участием в организации диверсии и тем, что в каждодневных разговорах с поселившимися в их доме фашистами нарушала их самодовольный покой издевательским намеком, незаметной иронией — всем тем, что А. Макаров оптом назвал «унизительным словоблудием».

Да, из гордости Ольга, оскорбленная отповедью Махотина, отказалась от дальнейших встреч с ним, отрезала себе путь к дальнейшему с ним общению, которое было так дорого ей и так нужно. Но ведь та же самая гордость не позволяла ей даже мысленно покориться врагам, та же самая гордость дала ей такое полное сознание своего духовного превосходства над «ничтожными идиотами» — фашистами, что беззащитная девочка в стане врагов чувствовала себя не пленником, а независимым и свободным в своих планах врагом «сволочей» и действовала сообразно этому своему сознанию.

К сожалению, Герасимовой не удалось рассказать об этой борьбе, о внутренних мотивировках поведения Ольги при немцах так же развернуто и убедительно, как она сделала это, описывая поведение своей героини в период встреч с Махотиным. Но логика развития характера Ольги, если смотреть на это развитие не научно-педагогическими, а обыкновенными человеческими глазами, настолько жизненно правдива, что читатель, досадуя на то, что слишком мало узнает о деятельности Ольги, ни на минуту не сомневается в направлении, в смысле, в страстной целеустремленности этой деятельности. Ибо характер этой деятельности определяется всем характером Ольги со всеми его положительными и отрицательными чертами и свойствами.

Эта решающая направленность ее характера состоит, как уже говорилось, в упорной, упрямой, страстной устремленности к правде. Стремление это сказывается во всем.

Простому глазу видится в поведении Ольги та духовная красота человека, которая делает любовь стимулом духовного роста и которая в условиях, когда «животное мучаег человека», заставляет неужеримо, не боясь смерти, броситься защищать человека от животного. Вот за эту духовную красоту, которую Махотин, невпример критику, различил за упрямством, озорством и сумасбродными выходками Ольги, он ее полюбил. А полюбив, с большой бережностью стал культивировать в ней ростки большого, высокого характера, очищая его от сорняков ребяческих выходов. А Макаров назвал за это Махотина «старым отшельником и педантом». Читатель Алимов, на которого мы уже ссылались выше, увидел в этом «житейскую мудрость, знание цены жизни», силу и высоту любви.

Кто из них прав — судить не нам.

Нам хотелось бы сказать здесь еще лишь одно. Только на критическо-педагогическом Олимпе могут, как это делает А. Макаров, всерьез тужить о том, что вот-де Зоя Космодемьянская «задолго до войны записала в своем дневнике» прекрасные слова чеховского Астрова, а Ольга ничего такого не записала; что Лиза Чайкина «долгое время была передовой представительницей и руководителем деревенских комсомольцев», а Ольга Куроченко — нет, и на этом основании заключать: «Вот почему мы и не можем поверить в реальность Ольги Куроченко».

Увы! Живая жизнь никогда не может быть втиснута в одну-единственную, хотя бы и самую образцовую модель. Ибо в том и состоит отличие самой хорошей модели, созданной в олимпийских кабинетах, от истинного человеческого идеала, к которому ведет людей искусство, что идеал сосредоточивает в себе принципы человеческого поведения, отношения к миру и к людям, а модель канонизирует определенную форму, неизбежно приходя тем самым к мертвой абстракции. Ибо общей, годной для любого содержания формы, не существует в природе.

# СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
Л. ЛАГИН—Броненосец „Анюта“ . . . . .	1
Н. УШАКОВ—Из книги „Летопись“, стихи . . . . .	53
Мих. ЛУКОНИН—Приду к тебе, стихи . . . . .	58
М. ДУДИН—Пир, стихи . . . . .	60
М. БАЖАН—Эпизод, стихи, перевод с украинского Н. Ушакова . . . . .	62
Иван БАУКОВ—На привале, стихи . . . . .	63

## ПУБЛИЦИСТИКА

Вас. ГРОССМАН—На рубеже войны и мира . . . . .	98
------------------------------------------------	----

## ЛЮДИ И ФАКТЫ

В. АРДОВ—Ильф и Петров (Воспоминания и мысли) . . . . .	116
---------------------------------------------------------	-----

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Сулейман РАГИМОВ—Литература советского Азербайджана . . . . .	149
Ос. ЧЕРНЫЙ—„Сын полка“ Валентина Катаева . . . . .	155
Л. ТИМОФЕЕВ—Среди стихов (Статья 4-я) . . . . .	162
Ан. ТАРАСЕНКОВ—Время, поэт, народ . . . . .	167
Н. ЧЕТУНОВА—Модели и люди . . . . .	171

## ОТ РЕДАКЦИИ

Продолжение романа А. Фадеева «Молодая гвардия» будет напечатано в следующих номерах нашего журнала.

### Замеченные опечатки в № 5—6

Стр.	напечатано:	следует читать:
174	15 строка сверху «восточного	«западного

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:** Вс. Вишневский (отв. редактор), Конст. Симонов, Ан. Тарасенков, Л. Тимофеев, Ник. Тихонов, М. Толченев.

Адрес редакции „Знамя“: Москва, ул. 25 Октября, д. 10/2, Гослитиздат.  
Телефон К 0-52-93

Подписано к печати 2/VII 1945 г. А—21004. Печ. л. 11. Уч.-авт. л. 14,5  
В печ. л. 55 000 зн. Тираж 30 000 экз. Цена 5 руб. Зак. 1355

6-я типография треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР, Москва, 1-й Самотечный пер., д. 17.